

Л · Ю · Д · М · И · Л · А

УЛИЩКАЯ



Зеленый шатер

Роман о характерах
и судьбах,
о взрослении
и зрелости,
отчаянии и прощении



Лонг-лист
премии
«Большая книга»

ЖЗЛ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Эксклюзивная новая классика

Людмила Улицкая

Зеленый шатер

«Издательство АСТ»

2011

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Улицкая Л. Е.

Зеленый шатер / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ», 2011

ISBN 978-5-17-092461-5

***НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ УЛИЦКОЙ ЛЮДМИЛОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА УЛИЦКОЙ ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ.** Людмилу Улицкую не раз называли очень внимательным свидетелем эпохи, ее цепким наблюдателем и интерпретатором. Пожалуй, более всего это относится к последнему роману – «Зеленый шатер». Роману о поколении тех, кому выпало взрослеть во времена оттепели, выбирать судьбу в шестидесятые, платить по счетам в семидесятые и далее... как получится, у всех по-разному. Калейдоскоп судеб от смерти Сталина до смерти Бродского, хор голосов и сольные партии, густое переплетение исторических реалий и художественного вымысла...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-092461-5

© Улицкая Л. Е., 2011
© Издательство АСТ, 2011

Содержание

Пролог	6
Школьные годы чудесные...	8
Новый учитель	22
Дети подземелья	36
«Люрсы»	41
Последний бал	55
Дружба народов	62
Зеленый шатер	67
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Людмила Улицкая

Зеленый шатер

Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком.

Б. Пастернак – В. Шаламову 9 июля 1952 года

В оформлении использован фрагмент картины Пауля Клее «Gauze»

© Улицкая Л.Е.

© ООО «Издательство АСТ»

Пролог

Тамара сидела перед тарелкой с жидкой яичницей и ела, еще досматривая сон.

Мама Раиса Ильинична нежнейшим движением проталкивала редкий гребень сквозь ее волосы, стараясь не слишком драть этот живой войлок.

Радио извергало торжественную музыку, но не слишком громкую: за перегородкой спала бабушка. Потом музыка умолкла. Пауза была слишком длинна, и как-то неспроста. Потом раздался всем известный голос:

– Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем правительственное сообщение...

Гребень замер в Тамариных волосах, а сама она сразу проснулась, проглотила яичницу и хрипловатым утренним голосом проговорила:

– Мам, наверное, какая-нибудь простуда ерундовая, а сразу на всю страну...

Договорить ей не удалось, так как неожиданно Раиса Ильинична дернула что было силы за гребень, голова Тамары резко откинулась, и она клацнула зубами.

– Молчи, – прошипела сдавленным голосом Раиса Ильинична.

В дверях стояла бабушка в древнем, как Великая Китайская стена, халате. Она выслушала радиосообщение со светлым лицом и сказала:

– Раечка, ты купи в «Елисеевском» чего-нибудь сладкого. Сегодня, между прочим, Пурим. Я так думаю, что Самех сдох.

Тамара не знала тогда, что такое Пурим, почему надо покупать что-нибудь сладкое и тем более кто такой Самех, который сдох. Да и откуда ей было знать, что для конспирации Сталина и Ленина в их семье с давних пор называли по первой букве их партийных кличек, «с» и «л», да и то на потаенном древнем языке – «самех» и «ламед».

Тем временем любимый голос страны сообщил, что болезнь вовсе не насморк.

* * *

Галя уже натянула форму и теперь искала фартук. Куда задевала? Полезла под топчан – не завалился ли туда?

Вдруг мать ворвалась с кухни с ножом в одной руке и картофелиной в другой. Она выла не своим голосом, так что Галя подумала, что мать руку порезала. Но крови видно не было.

Отец, тяжелый по утрам, оторвал голову от подушки:

– Что орешь, Нинка? Что орешь с утра пораньше?

Но мать выла все громче, и слов было почти не разобрать в ее обрывчатых воплях:

– Умер! Что спишь, дурак? Вставай! Сталин умер!

– Объявили, что ли? – отец приподнял большую голову с прилипшим ко лбу чубом.

– Сказали, заболел. Но помер он, вот те крест, помер! Чует мое сердце!

Дальше шли опять невнятные вопли, среди которых прорезался драматический вопрос:

– Ой-ой-ой! И что теперь будет? Что будет теперь со всеми нами? Будет-то что?

Отец, поморщившись, грубо сказал:

– Ну что ты воешь, дура? Что воешь? Хуже не будет!

Галя вытащила наконец фартук – он и точно завалился под топчан.

– А пусть мятый – не буду гладить! – решила она.

* * *

К утру температура спала, и Оля заснула хорошим сном – без пота и без кашля. И спала почти до обеда. Проснулась, потому что в комнату вошла мать и произнесла громким торжественным голосом:

– Ольга, вставай! Случилось несчастье!

Не открыв еще глаз, еще спасаясь в подушке в надежде, что это сон, но уже ощущая ужасный стук в горле, Оля подумала: «Война! Фашисты напали! Началась война!»

– Ольга, вставай!

Какая беда! Фашистские полчища топчут нашу священную землю, и все пойдут на фронт, а ее не возьмут...

– Сталин умер!

Сердце еще колотилось в горле, но глаза она не открывала: слава богу, не война. А когда война начнется, она уже будет взрослой, и тогда ее возьмут. И она накрыла голову одеялом, пробормотала сквозь сон: «И тогда меня возьмут», – и уснула с хорошей мыслью.

Мать оставила ее в покое.

Школьные годы чудесные...

Интересно проследить траекторию движения, приводящего к неминуемой встрече предназначенных друг другу людей. Иногда такая встреча происходит как будто без особых усилий судьбы, без хитроумной подготовки сюжета, следуя естественному ходу событий, – скажем, люди живут в одном дворе или ходят в одну школу.

Эти трое мальчишек вместе учились. Илья и Саня – с первого класса. Миха попал к ним позже. В той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждой стае, все трое занимали самые низкие позиции – благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к жестокости. Илья был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин. К тому же не было гвоздя и железяки, которые не вырвали бы клочок из его одежды. Его мать, одинокая и унылая Мария Федоровна, из сил выбивалась, чтобы наставить кривые заплаты совершенно кривыми руками. Искусство шитья ей не давалось. Илья, всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, постоянно паясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности, и это был высокий способ ее преодоления.

Санино положение было худшим. Зависть и отвращение вызывали у одноклассников курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завернут домашний бутерброд. К тому же он учился играть на пианино, и многие видели, как он с бабушкой в одной руке и нотной папкой в другой следовал по улице Чернышевского, бывшей и будущей Покровке, в музыкальную школу имени Игумнова – иногда даже в дни своих многочисленных не тяжелых, но затяжных болезней. Бабушка – сплошной профиль – ставила впереди себя тонкие ноги, как цирковая лошадь, и мерно покачивала при ходьбе головой. Саня шел сбоку и чуть сзади, как полагается груму.

В музыкальной школе, не то что в общеобразовательной, Саней восхищались – уже во втором классе на экзамене он играл такого Грига, которого не каждый пятиклассник мог осилить. Умилению способствовал и малый рост исполнителя: в восемь лет его принимали за дошкольника, а в двенадцать – за восьмилетнего. В общеобразовательной школе по той же самой причине у Сани было прозвище Гном. И никакого умиления – одни злые насмешки. Илью Саня сознательно избегал: не столько из-за автоматического ехидства, специально на Саню не направленного, но время от времени задевающего, сколько из-за унижительной разницы в росте.

Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в пятом классе, вызвав общий восторг: он был идеальной мишенью для всякого неленивого – классическим рыжим. Наголо стриженная голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, прозрачные малиновые уши парусами, торчком стоящие на неправильном месте головы, как-то слишком близко к щекам, белизна и веснушчатость, даже глаза с оранжевым переливом. К тому же – очкарик и еврей.

Первый раз Мihu поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на большой перемене в уборной. И даже не сами Мурыгин и Мутюкин – те не снизошли, – а их подпевалы и подвывалы. Миха стойчески принял свою дозу, открыл портфель, достал платок, чтобы стереть выбежавшие сопли, и тут из портфеля высунулся котенок. Котенка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. Зашедший в этот момент Илья – самый высокий в классе! – поймал котенка над головами волейболистов, и прозвеневший звонок прервал это интересное занятие.

Входя в класс, Илья сунул котенка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой портфель.

На последней перемене главные враги рода человеческого, имена которых, Мурыгин и Мутюкин, послужат основой для будущей филологической игры и по многим причинам стоят упоминания, котенка немного поискали, но вскоре забыли. После четвертого урока всех отпу-

стили, и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в пустом классе, уставленном пестрыми астрами.

Саня вытащил полузадохшегося котенка и протянул Илье. Тот передал его Михе. Саня улынулся Илье, Илья – Михе, Миха – Сане.

– Я стихотворение написал. Про него, – застенчиво сказал Миха. – Вот.

Он был красив среди котов
И к смерти был почти готов,
Илья его от смерти спас,
И с нами он теперь сейчас.

– Ну, ничего. Не Пушкин, конечно, – прокомментировал Илья.

– «Теперь сейчас» не может быть, – заметил Саня, и Миха самокритично согласился:

– Да, точно. И с нами он сейчас. Без «теперь» звучит лучше!

Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-котенка почти из самой пасти собаки, которая собиралась его загрызть. Но отнести его домой он не мог, потому что тетя, у которой он жил с прошлого понедельника, еще неизвестно как бы к этому отнеслась.

Саня гладил котенка по спинке и вздыхал:

– Я не могу его взять, у нас дома кот. Ему точно не понравится.

– Ладно, я его возьму. – И Илья небрежно перехватил котенка.

– И дома – ничего? – поинтересовался Саня.

Илья усмехнулся:

– Дома как я скажу, так и будет. У нас с матерью нормальные отношения. Она меня слушает.

«Он совсем взрослый, я никогда таким не стану, я даже не смогу выговорить: “У нас с матерью нормальные отношения”. Все правильно: я – маменькин сынок. Хотя и меня моя мама слушает. И бабушка слушает. О, больше чем слушает! Но все равно это по-другому», – опечалился Саня.

Он смотрел на костлявые руки Ильи в желтых и темных пятнах, в ссадинах. Длинные пальцы, две октавы возьмет такими пальцами. Миха пристраивал тем временем котенка у себя на голове, на рыжем плюшевом чубчике, оставленном вчера «на развод» великодушным парикмахером у Покровских ворот. Котенок скатывался, Миха все усаживал его на темечко.

Они вышли из школы втроем. Котенка покормили растаявшим мороженым. У Сани были деньги. Их хватило на четыре порции. Как выяснилось позже, у Сани почти всегда были деньги... Первый раз в жизни Саня ел мороженое на улице прямо из пачки: когда бабушка покупала мороженое, его несли домой, клали оседающей горкой в стеклянную вазочку на низкой ножке, сверху капали вишневым вареньем – и только так!

Илья с воодушевлением рассказал, какой фотоаппарат он купит себе на первые заработанные деньги, а заодно изложил план, как именно эти деньги можно заработать.

Саня ни с того ни с сего вдруг открыл свою тайну – руки у него маленькие, «непианистические», и это для исполнителя большой недостаток.

Миха, обживавший новую – третью по счету – родственную семью за последние семь лет, сообщил этим почти незнакомым мальчишкам, что родственники уже кончаются, и если эта тетка его у себя держать не станет, то придется опять в детский дом идти...

Новая тетка, Геня, была женщина слабая. У нее не было какой-то определенной болезни; скорбно и значительно она говорила про себя: «Я вся больная» – и постоянно жаловалась на боли в ногах, в спине, в груди и в почках. Кроме того, у нее была дочь-инвалид, что тоже плохо отражалось на ее здоровье. Всякая работа была ей тяжела, и в конце концов семья решила,

что сироту-племянника поселят у нее, а ей будут собирать по родне деньги на его содержание. Миха, как ни крути, был сыном их погибшего на войне брата.

Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а потом остановились возле Яузы, замолчали. Почувствовали одновременно – как хорошо: доверие, дружество, равноправие. И мысли нет, кто главней, напротив, все друг другу равно интересны. А про Сашу с Ником, про клятву на Воробьевых горах они еще не знали, даже начитанный Саня Герцена еще не открывал. Да и гнилые эти места – Хитровка, Гончары, Котельники – столетиями считались самыми вонючими в городе и не созданы были для романтических клятв. Но что-то важное произошло: такая сцепка между людьми возможна только в юном возрасте. Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь.

Спустя некоторое время этот союз сердец после долгих споров, отвергнув «Троицу» и «Трио», они назовут напыщенно: «Трианон». Они ничего не знали о разделе Австро-Венгрии, слово было выбрано за красоту.

Этот «Трианон» через двадцать лет промелькнет в тягостной беседе Ильи с сотрудником госбезопасности высокого ранга, но так и не установленного чина, и с не вполне достоверным именем, Анатолием Александровичем Чибиковым. Даже самые ушлые из всей гэбэшной банды борцы с диссидентами тех лет постеснялись провести «Трианон» как молодежную антисоветскую организацию.

Надо отдать должное Илье: с появлением первого фотоаппарата он стал создавать настоящий фотоархив, который полностью сохранился до наших дней. Правда, на первой папке школьных лет стояло другое название, не менее загадочное, чем «Трианон», – «Люрсы».

Итак, соединил мальчиков – и это было впоследствии документировано – не высокий идеал свободы, ради которого следовало либо немедленно пожертвовать жизнью, либо, что более скучно, всю жизнь год за годом отдавать на служение неблагодарному народу, как это произошло с Сашей и Ником за сто с лишним лет до того, – а чахлый котенок, которому не суждено было пережить потрясений первого сентября 1951 года. Бедняга скончался спустя два дня на руках Ильи и был похоронен тайно, но торжественно под садовой скамьей во дворе дома № 22 по улице Покровка (в те времена Чернышевского, тоже потратившего свою жизнь на благородные идеи). Дом когда-то имел прозвище «комод», но из теперешних его обитателей мало кто об этом мог быть наслышан.

Котик покоился под садовой скамейкой, на которой сживал некогда – предположительно – юный Пушкин со своими кузинами, забавляя их складными стишками. Санина бабушка постоянно напоминала: дом, в котором они живут, знавал лучшие времена.

Удивительным образом в классе довольно быстро – через две недели или через месяц – что-то поменялось. Миха, конечно, не почувствовал, откуда ему знать, как было раньше, он был новичок. А Саня с Ильей ощутили: в классе они по-прежнему располагались в самом низу иерархии, но теперь не поодиночке, а совокупно. И стали они, таким образом, признанным меньшинством по тому самому неопределенному признаку, из-за которого они не могли влиться в общую среду малого мира. Два вождя, Мутюкин и Мурыгин, держали всех остальных в руках, а когда ссорились между собой, то и класс разделялся на две враждующие партии, к которым изгой никогда не примыкали, да их и не приняли бы. Тогда происходили веселые, злобные, с кровяной и без, потасовки, и все про них забывали. А потом, когда Мутюкин и Мурыгин мирились, опять начинали замечать этих непарных, некомпанейских чужаков, которых избить как следует труда не составляло, но интереснее было держать их в страхе и беспокойстве и постоянно напоминать, кто здесь главный: еврей-очкарик, музыкант, школьный шут или «нормальные ребята», как Мутюкин и Мурыгин.

В пятом классе началась средняя школа, и теперь вместо единственной на всю грамматику и арифметику Натальи Ивановны, доброй тетеньки, научившей азбуке даже Мутюкина и

Мурыгина, которых она звала ласково Толенькой и Славочкой, появились предметники: математик, русичка, ботаничка, историчка, немка и географ.

Предметники были помешаны каждый на своем предмете, задавали большие домашние задания, и «нормальные ребята» явно не управлялись. Илья, который в начальной школе никак не блистал, подтянулся в окружении новых друзей, и к концу второй четверти, то есть к Новому году, обнаружилось, что низкосортные очкарики и слабаки здорово учатся, а Мутюкин с Мурыгиным еле тянут. Конфликт, который взрослые люди называли бы социальным, обострялся, приобретал более осознанный характер, по крайней мере со стороны притесняемого «меньшинства». Именно тогда Илья впервые ввел термин, который сохранился в их компании на долгие годы, – «мутюки и мурыги». Это был почти синоним знаменитым «совкам» более позднего времени, но прелесть была в его рукотворности.

Наибольшее раздражение у «мутюг и мурыг» вызывал Миха, ему больше всех доставалось, но он, с детдомовским опытом, легко переносил школьные побои, никогда не жаловался, встряхивался, подбирал шапку и улупетывал под улюлюканье врагов. Илья с успехом паясничал, так что ему часто удавалось сбить врагов с толку насмешкой или поразить неожиданной выходкой. Саня оказался наиболее чувствительным. Впрочем, именно эта неприличная чувствительность послужила в конце концов ему защитой. Однажды, когда Саня мыл руки над раковиной в школьном сортире – помеси парламента и воровской сходки, – Мутюкин проникся глубоким отвращением к этому невинному занятию и предложил Сане вымыть заодно и рожу. Саня, отчасти из миролюбия, но отчасти из трусости, умылся, и тогда Мутюкин взял половую тряпку и вытер ею Санино мокрое лицо. К этому времени их уже окружало кольцо любопытствующих: ожидали развлечения. Но развлечения не вышло. Саня затрясся, побледнел и, потеряв сознание, упал на кафельный пол. Жалкий противник был, конечно, повержен, но каким-то неудовлетворительным образом. Он лежал на полу в странной позе, весь запрокинувшись. Мурыгин тихонько попихал его ногой в бок, просто проверить, чего тот лежит без движения. Позвал его вполне незлобиво:

– Эй, Санек, чего разлегся-то?

Мутюкин очумело смотрел на бездвижного Саню.

Но Саня глаз не открывал, невзирая на бодрящие тычки. Тут в уборную вошел Миха, взглянул на немую картину и понесся к школьному врачу. Понюшка нашатыря вернула Саню к жизни, физкультурник отнес его в медицинский кабинет. Врачиха измерила Сане давление.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.

Он ответил, что вполне удовлетворительно, но не сразу вспомнил, что произошло. А когда вспомнил грязную тряпку, которой возили по лицу, его затошнило. Он попросил мыла, тщательно умылся. Врачиха хотела вызвать родителей. Саня не без труда уговорил ее не звонить. Мама все равно была на работе, а бабушку он оберегал от неприятностей. Илья вызвался сопровождать ослабевшего друга домой, и врачиха дала записку, что отпускает их с урока.

Санин статус с этого дня, как ни странно, повысился. Его, правда, звали теперь «Гном припадочный», но задирать перестали: а ну как снова грохнется в обморок?

Тридцать первого декабря школу распустили, начались зимние каникулы, одиннадцать дней счастья. Миха запомнил каждый из этих дней в отдельности. На Новый год ему подарили сказочный подарок. После секретных переговоров с сыном, получив от него заверения, что его потомство отказывается от этой части семейного наследства, а сам он не возражает, тетя Геня вручила Михе коньки.

Это был американский, давно вышедший из употребления гибрид, нечто среднее между «снегурками» и «гагами», с двойными полозьями, зазубренным носком. Коньки были приделаны к разбитым ботинкам бывшего красного цвета крупными звездчатыми клепками. На металлической пластине, соединяющей лезвия с ботинками, можно было прочесть “Einstein”

и ряд непонятных цифр и букв... Ботинки были сильно биты предшествующим хозяином, но сами лезвия блестели как новенькие.

Тетя Геня относилась к конькам как к семейной реликвии. В других семьях относились так к бабушкиным бриллиантам.

Бриллианты в истории этих коньков тоже косвенным образом присутствовали. В 1919 году старшего брата тети Гени Самуила сам Ленин послал в США для организации Американской коммунистической партии. Самуил весь остаток жизни гордился этой миссией и рассказывал в деталях о своей поездке близким родственникам и близким друзьям, которых было несколько сотен, пока не был арестован в тридцать седьмом. Он получил десять лет без права переписки и исчез навеки, но его великая история стала семейной легендой.

В июле девятнадцатого года кружным путем Самуил доехал из Москвы через Северную Европу до Нью-Йорка и ступил на пирс как матрос, прибывший на торговом судне из Голландии. Он сошел по трапу, грохоча каблуками ботинок, пошитых кремлевским сапожником, с замурованным в каблуке огромной стоимости бриллиантом. Он выполнил задание – от имени Коминтерна открыл первый подпольный съезд компартии. Через несколько месяцев Самуил вернулся и доложил лично товарищу Ленину о выполнении задания.

Его скромные командировочные, за вычетом двенадцати долларов, потраченных на питание, пошли на подарки. Он привез жене красное шерстяное платье с вязаными ягодами на воротнике и на плечах и красные туфли на три размера меньше, чем было нужно. Коньки были третьим и самым дорогим американским подарком в его багаже – куплены были на вырост малолетнему сыну, который вскоре умер.

Лучше бы купил коньки себе. Мальчишкой Самуил так мечтал выйти на середину катка и промчатся, пригнувшись к маслянистому льду, мимо всех своих недоброжелателей, мимо дам с муфтами, гимназистов и барышень, среди которых непременно должна была находиться Маруся Гальперина... Коньки долго лежали в сундуке, ожидая появления нового наследника. Но детей у Самуила больше не случилось, и коньки, пролежав десять лет под спудом, достались сыну Гени, младшей сестры.

Теперь, спустя еще двадцать лет, они перешли в руки – точнее, в ноги – другому родственнику героического Самуила.

Таким неожиданным подарком, превышающим все представления о возможном счастье, закончился для Миши первый день каникул. И ничто не предвещало беды, которая из этого подарка вскоре последовала...

В новогодний вечер большая семья тети Гени собиралась за столом, который с разрешения соседей накрывали на просторной коммунальной кухне, а не в четырнадцатиметровой комнате, где проживала сама тетя Геня, ее незамужняя и неудачная в эндокринологическом отношении дочка Минна и с некоторых пор Миха. Еду тетя Геня приготовила богатую – сразу и курицу, и рыбу. Ночью, после памятного застолья, Миха написал стихотворение, в котором отразил незабываемые впечатления дня.

Коньки прекраснее всего,
Что в жизни видел я,
Прекрасней солнца и воды,
Прекраснее огня.
На них прекрасен человек,
Который на коньках.
И стол накрыт, как на балу,
Не перечесть всех ед,
И можно только пожелать

Родне больших побед.

Первоначально вместо «ед» стояло «яств». Но к «яствам» никакой рифмы, кроме «пьянства» в родительном падеже, не находилось.

Миха всю неделю вставал затемно и выходил во двор, на залитый пяточок катка, катался в одиночестве и уходил, как только во дворе появлялись отсыпавшиеся в дни каникул ребята. Он не очень твердо стоял на коньках и боялся, что не сможет отбить их в случае нападения.

Коньки были, конечно, в те каникулы событием номер один. Номер два – Санина бабушка Анна Александровна. Она водила мальчиков в музей.

Пробрало не только Миху, который по природе своей наполовину состоял из жажды знаний, научного и ненаучного любопытства и восторга, а на вторую половину из неопределенного творческого горения. Походы в музей произвели глубокое впечатление даже на Илью, который, казалось, художественными запросами не отличался, а больше склонялся к технике. Только Санечка, владелица потрясающей бабушки, обыденно переходил из зала в зал и время от времени подавал реплики – не друзьям, бабушке! – из которых следовало, что и здесь, в музеях, он, как и в консерватории, свой человек.

В Анну Александровну Миха влюбился. На всю жизнь, до самой ее смерти. Она же увидела в нем будущего мужчину той породы, какая ей всегда нравилась. Мальчонка был рыж, он был поэт, и в ту неделю он даже прихрамывал, перекатавшись на новых коньках, – точь-в-точь как тот поэт, почти великий, в которого Анна Александровна была тайно влюблена тринадцатилетней девочкой... Сам эталон, в ту далекую пору взрослый мужчина в ореоле борца и почти мученика, пользовавшийся в начале двадцатого века большим успехом, не заметил влюбленную барышню, но оставил глубокий отпечаток на какой-то фрейдовской изнанке ее психики: всю длинную жизнь ей нравились такие вот рыжие, яркие, эмоциональные мужчины.

Она улыбалась, глядя на Миху – малыш той самой породы, но разошлись во времени... И приятно было ловить его восторженный взгляд.

Таким образом, сам того не ведая, Миха пользовался взаимностью. С той зимы он стал частым гостем в доме Стекловых. В большой комнате с тремя окнами и еще половиной окна, рассеченного надвое перегородкой, под высоченным потолком с лепниной, тоже рассеченной, гнездились невиданные книги, и даже на иностранных языках. В позе всегдашней боевой готовности стояло пианино с упрятанной в него музыкой. Время от времени всплывали неприличные, но восхитительные запахи – настоящего кофе, мастики, духов.

«Наверное, именно так все и было в доме моих родителей», – думал Миха. Родителей он не помнил: мать погибла при бомбежке последнего состава, который шел из Киева на восток восемнадцатого сентября сорок первого года, когда немцы уже подходили к Подолу. Отец погиб на фронте, так и не узнав о гибели жены и спасении сына.

На самом деле в доме Михиных родителей все было совсем не так, как у Сани Стеклова, и фотографии родителей, чудом сохранившиеся после войны, он впервые увидел уже двадцатилетним. Там были изображены бедные некрасивые люди, сильно его разочаровавшие, – мама с фальшивой улыбкой на маленьких темных губах и с огромным бесстыжим бюстом и папа, толстый коротышка с необыкновенной важности лицом. Сзади топорщились фрагменты быта, ничем не напоминавшие отрезок малой залы бывшей усадьбы Апраксиных-Трубецких, в котором обитало семейство Сани.

Девятого января, под конец каникул, справляли Санин день рождения. До этого было еще и Рождество, но на него приглашались только взрослые гости. Прошло еще несколько лет, прежде чем ребят стали принимать и седьмого января. Зато на Санин день всегда оставались всякие рождественские сладости – засахаренные яблоки, вишни, даже апельсиновые корочки, которые готовила Анна Александровна как никто в мире. И еще: складывали ширму, переносили

сили ближе к двери обеденный стол и между двумя окнами воздвигали большую елку, украшенную невиданными игрушками из коробки, хранившейся весь год на антресолях.

Праздник Сане всегда устраивали прекрасный. Там бывали даже девочки: на этот раз две Санины подруги, Лиза и Соня, из музыкальной школы, и внучка бабушкиной подруги Тамара со своей подружкой Олей, но они были совсем маленькие, первоклашки, и никакого интереса у мальчиков не вызвали. Да и сама эта бабушкина подруга была маловыразительная и кое-какая. Зато дедушка Лизы, Василий Иннокентиевич, в военной форме, с усами, окруженный сложным запахом одеколона, медицины и войны, был великолепен. К внучке своей он полушутя обращался на «вы», а Анне Александровне говорил: «Нюта, ты...» Он был ее двоюродным братом, и Лиза, таким образом, приходилась Сане сколькожуродной сестрой. Даже прозвучали дореволюционные слова «кузен», «кузина» – тоже, вероятно, из той коробки на антресолях...

Анна Александровна называла девчонок барышнями, мальчишек молодыми людьми, и Миха был ошеломлен всем этим великосветским обращением, совершенно растерян и успокоился, лишь когда Илья подмигнул ему издали с таким выражением лица – мол, не бойсь, не обидят!

Анна Александровна все организовала незабываемым образом. Сначала был кукольный театр с настоящей ширмой, Петрушкой, Ванькой и толстой куклой Розой. Они смешно дрались и ругались на иностранном языке.

Потом немного поиграли в слова. Маленькие девочки Тамара и Оля не отставали от взрослых, оказались не по годам развитыми. Анна Александровна пригласила детей к овальному столу, а взрослые второстепенно пили чай за шкафом. Василий Иннокентиевич сидел в кресле и курил папиросу. После окончания домашнего спектакля Анна Александровна вынула из серебряного портсигара, который лежал перед Василием Иннокентиевичем на столике, толстую папиросу, закурила, но тут же закашлялась:

– Базиль, ужасно крепкие папиросы!

– Потому я их никому и не предлагаю, Нюта.

– Фу, фу! – разгоняла перед собой пахучий дым Анна Александровна. – Откуда ты их берешь?

– Я табак покупаю, а Лизка гильзы набивает.

Но это был далеко не конец праздника. После театра был сладкий стол, который Миха запомнил на всю жизнь, – от самодельного крутона до желтых костяных колец, в которые были всунуты салфетки из жесткой белой ткани.

Илья с Михой переглядывались. Это был тот момент, когда Саня существовал единолично и высоко, а они вдвоем отдельно от него и чуть пониже. Дружба троим, как и всякий треугольник, вещь непростая. Возникают препятствия и соблазны – ревности, зависти, иногда вплоть до мельчайшей, даже извинительной, но подлости. Оправдывается ли подлость нестерпимо большой любовью? Нестерпимо большой ревностью и болью? Чтобы разобраться в этом, им троим была дана на редкость подходящая для этого эпоха и целая жизнь – кому короче, кому длиннее...

В этот вечер не только зажатый Миха, но даже разбитной Илья чувствовали себя несколько униженными великолепием дома. Саня, более всего занятый длиннолицей Лизой с распущенными из-под синей ленты волосами, что-то почуял, отозвал Мihu, они долго шептались между собой, а потом привлекли Анну Александровну. Немного погодя объявили, что будут ставить шараду. Затем Саня перевернул небольшой странноватый стул, и тот превратился в невысокую лесенку. Саня залез на самый верх, так что стал много выше Мihu, а тот стал на ступеньку пониже, и они прочитали на два голоса, пихаясь, толкая друг друга, дергая друг друга за уши, мыча и издавая разные непонятные звуки, следующее почти-стихотворение:

Мое первое на двоих одно —

разговор на лугу двух почтенных особ,
мое второе – в одном случае ноша – «тяжело – ух!»,
в другом – не вполне приличный звук,
издаваемый после еды,
мое третье, снова на двоих одно, —
в немецком языке предлог.
Вместе – имена двух существ,
условно принадлежащих виду *Homo sapiens*.

Гости смеялись, но разгадать, конечно, никто не мог. Среди гостей был только один человек, способный разгадать эту лингвистическую загадку, – Илья. И он не подвел. Дав гостям убедиться, что решение им не по зубам, он объявил не без гордости:

– Я знаю, эти животные называются Мутюкин и Мурыгин!

По совести говоря, эту шараду нельзя было ставить, ведь никто из гостей никогда слыхом не слыхивал ни о каких Мурыгиных и Мутюкиных, но никто их в этом не укорял. Было весело, чего еще надо?

Но внутри мальчишеской компании что-то повернулось: Миха, участвуя в сочинении шарады, подтянулся до Сани, а Илья даже и превознесся над ними – ведь именно он оказался разгадчиком, поддержал игру. Ее можно было бы считать неудачной, если б никто не отгадал. Молодец Илья!

Мальчишки обнялись, и Василий Иннокентиевич сфотографировал их втроем. Это была их первая совместная фотография.

Фотоаппарат у Василия Иннокентиевича был трофейный, замечательный – это Илья заметил. И еще заметил, что погоны полковничьи и со змейками. Военный врач...

Десятого января Анна Александровна повела мальчиков на фортепианный концерт в зал Чайковского – слушать Моцарта. Илье было здорово скучно, он даже заснул ненадолго, Миха пришел в большое возбуждение, потому что музыка эта вызвала восторг и смятение такие сильные, что он даже не смог написать по этому поводу стихотворения. Саня почему-то расстроился, чуть не плакал. Анна Александровна знала почему: Сане хотелось бы тоже вот так играть Моцарта...

Одиннадцатого пошли в школу, и в первый же день их троих и еще одного, Игоря Четверикова, в школьном дворе здорово изметелили. Началось с невинного обстрела снежками, а кончилось большим поражением: у Михи был подбит глаз, сломаны очки, Илье разбили губу. Обидно, что нападающих было всего двое, а их четверо. Саня по обыкновению держался чуть поодаль – скорее из деликатности, а не из трусости. Мурыгин и Мутюкин вызвали такое же отвращение, как незабываемая тряпка, которой возили по его лицу. На Саню противники вообще не обращали внимания, рыжий Миха, закатавший Мурыгину каменной твердости снежок ровно в нос, их интересовал гораздо больше. Илья отплевывал кровь у забора, Четвериков колебался, не пора ли дать деру, а Миха, прислонившись спиной к стене, стоял на изготовку с красными кулаками впереди лица. Кулаки у Михи были большие, почти мужского размера.

И тогда Мутюкин вытащил складной нож, похожий на перочинный, но, видно, для очень уж больших перьев, из него выскочило тонкое лезвие, и он пошел враскачку прямо на Миху с его глупыми кулаками. И тогда Саня взвизгнул, подпрыгнул, сделал два нескладных прыжка и схватился рукой за лезвие. Кровь хлынула неправдоподобно быстро, Саня махнул рукой, красная струя залила Мутюкину все лицо. Мутюкин завопил, как будто это ему нанесли ножевое ранение, и мгновенно унесся, сопровождаемый Мурыгиным. Но о победе никто не думал. Миха плохо видел происшедшее – он был без очков. Четвериков кинулся запоздало за Мурыгиным, но смысла в погоне не было ни малейшего. Илья перетягивал руку Сани шарфом, но кровь хлестала как из водопроводного крана.

– Беги к Анне Алексанне, быстро! – крикнул Илья Михе. – А ты давай в школу, к врачихе.

Саня был без сознания – то ли от испуга, то ли от кровопотери. В Институт Склифосовского его доставили через двадцать пять минут. Кровь быстро остановили, рану зашили. Через неделю выяснилось, что четвертый и пятый пальцы не разгибаются. Пришел профессор, распеленал маленькую Санину кисть, порадовался, как хорошо идет заживление, и объявил, что этот чертов нож перерезал глубокую поперечную пястную связку, и он очень удивлен, что не разгибаются только два пальца, а не все четыре.

– Можно ли это разработать? Массаж? Электрофорез? Какие-нибудь новые процедуры? – спросила Анна Александровна у профессора, который посмотрел на нее с уважением.

– Обязательно. После полного заживления. Частично восстановится подвижность. Но, видите ли, сухожилия – это не мышцы.

– А музыкальный инструмент?

Профессор улыбнулся с сочувствием:

– Маловероятно.

Не знал, что подписал приговор. Анна Александровна ничего этого Сане не сказала, и полгода после выписки они ходили на процедуры.

В больницу к Сане сразу после операции прибежала директорша, разговоры о ноже дошли до нее, и она перепугалась. На допросе Ларисы Степановны Саня вел себя замкнуто и твердо: повторил раз пять, что нашел ножик в школьном дворе, нажал на кнопку, и лезвие выскочило, разрезав ему ладонь. А чей нож – понятия не имел. «Вещдок» обнаружили на следующий день после происшествия. Нож лежал, как в кино, посреди пропитанного кровью островка снега. Его доставили директрисе, и он был уложен в верхний ящик ее письменного стола.

Тетя Геня долго стонала над Михиными разбитыми очками, мать Ильи поругала его немного за драчливость, а Игорю Четверикову и вообще удалось скрыть происшествие от родителей.

С этого дня он хотя не вошел в «Трианон» полноценным членом, но считался сочувствующим. Дальнейшее развитие событий, растянувшееся, правда, на четверть века, подтвердило, что все на свете закономерно – не напрасно потрепали этого будущего диссидента сверхъестественно прозорливые мелкие хулиганы.

Когда дело о взволновавшем всю школу побоище усилиями директорши удалось замять, от Мутюкина и Мурыгина на время отстали, они поссорились и дрались теперь между собой. Класс раскололся на два лагеря, и у всех была интересная жизнь – с вражескими лазутчиками, перебежчиками, переговорами и стычками. Боевой дух овладел большинством, а меньшинство расслабилось и разнежилось.

Саня пришел в школу через три недели с перевязанной рукой, ходил несколько дней, после чего заболел ангиной и до конца третьей четверти в школе не появлялся. Илья с Михой навещали его почти ежедневно, приносили уроки. Анна Александровна поила их чаем с яблочным пирогом, который назывался «пай». Это было первое английское слово, которое усвоил Михе. Саню английскому и французскому учили с детства. В школе как раз с пятого класса преподавали отвратительный немецкий. Но Анна Александровна по части немецкого языка оказалась неожиданно требовательна, стала заниматься с Саней дополнительно, пригласив для компании и Саниных друзей. Илья уклонялся, а Михе прибегал на уроки как на праздник.

Одновременно Анна Александровна подарила Михе старый английский учебник для начинающих.

– Учи, Михе, при твоих способностях сам все одолеешь. Я дам тебе несколько уроков, чтоб произношение поставить.

Так с барского стола валились на Миху щедрые дары.

У Сани настроение было странное: ничему не мешали подогнутые немного внутрь два крайних пальца, и даже было незаметно, потому что люди обычно не держат пальцы враспор, а всегда немного поджимают их внутрь. Но они означали полную перемену жизни, полную перемену планов. Он целыми днями слушал музыку и наслаждался как никогда прежде: он больше не беспокоился о том, что не сможет играть как великие музыканты... Язва неуверенности в своих талантах больше не точила его. Лиза – единственная! – понимала:

– Ты теперь свободней тех, кто пытается стать музыкантом. Немного завидую тебе...

– А я – тебе, – признавался Саня.

Они вместе ходили в консерваторию: Анна Александровна с Саней, Лиза с дедушкой, к ним присоединялась какая-нибудь бабушкина подруга, чья-нибудь племянница, родственница. Иногда, если был просвет в работе, приходил Лизин отец, Алексей Васильевич, тоже хирург, как и Василий Иннокентиевич, и видно было, какое между ними сильное фамильное сходство: удлиненные лица, высокие лбы, тонкие носы с кавказской горбинкой. Впрочем, тогда казалось, что все посетители консерватории между собой в родстве и, уж во всяком случае, все между собой знакомы. Это было особое малое население, затерянное в огромном многолюдстве города, – как религиозный орден, скрытая каста, может быть, даже как тайное общество...

В начале года вообще произошло множество событий.

Из Ленинграда приехал отец Ильи, Исай Семенович. Приезжал он раз-два в год, всегда с подарками. В прошлом году отец привез тоже хороший подарок – немецкую готовальню, но от нее, кроме красоты, никакого прока не было. На этот раз привез фотоаппарат «ФЭД-С», довоенный, сделанный руками мальчишек из трудовой коммуны имени Дзержинского и представлявший собой точную копию немецкой «лейки». Отец дорожил этим старым аппаратом – он был в войну корреспондентом, почти три года таскал его с собой – и теперь подарил своему единственному сыну, рожденному от южного романа с невзрачной немолодой девушкой Машей. Маша ни на что не рассчитывала, ни на что не претендовала, тихо любила сына, радовалась, что Исай не бросает его, дает иногда деньги, то вдруг помногу, то подолгу совсем ничего. В ласках Маша бывшему любовнику последовательно отказывала, чем подогревала к себе интерес. Она улыбалась, угощала пирогом, стелила хрустящее крахмалом белье, уходила на диванчик к сыну и ложилась рядом с ним «валетом». Исай же все более на нее дивился и все более о ней думал.

Фотоаппарата было немного жалко, но он переборол привязанность к верной и нужной вещи – чувство вины перед заброшенной мальчишкой перевесило. Были у него камеры и получше. И еще была семья и две любимые дочки, которые совершенно не интересовались никакой фототехникой. Мальчонка же просто затрясся от этого подарка, и отец почувствовал досаду на жизнь, в которой все не так устроилось, как надо бы, и вместо кроткой Маши, в невзрачности которой проглядывала и миловидность, досталась ему грубая крикливая Сима, и теперь он уж не мог и припомнить, как и зачем оказался ее подкаблучником-мужем.

Он рассказал сыну, что такое камера-обскура, что темной коробки с маленьким отверстием и пластинки, покрытой светочувствительным веществом, достаточно, чтобы сделать снимок, остановить мгновение жизни. Мария Федоровна тут же сидела, подперев щеку рукой, и улыбалась своему крохотному счастью. Ей надо было зернышко одно, как синице... Исай видел это и видел, как быстро Илья все схватывает, какие ловкие у него руки – похож был, похож! – и уехал с твердым намерением поменять свою жизнь так, чтобы почаще видеться с сыном. И Маша, Маша его притягивала теперь больше, чем тогда, летом тридцать восьмого, когда взял он ее скорее по обязанности нестарого и дееспособного мужчины, чем по осмысленной симпатии. Жизнь менять было поздно. Но хоть немного: признаться наконец Симе, что есть у него довоенный отпрыск, которого неплохо бы принять в доме и познакомить с младшими сестрами... Но это было последнее свидание отца с сыном: спустя два месяца Исай Семенович, лишившись работы на «Ленфильме», умер от инфаркта.

В тот последний раз отец пробыл у них дня два. Мать, как всегда после его отъезда, несколько дней исподтишка плакала, а потом перестала. Жизнь у Ильи явственно распалась на две половины – до «ФЭДа» и после. Эта умная машинка постепенно пробудила упрятанный в глубинах талант. Он и раньше собирал коллекции всего, что попадало в поле зрения: еще во втором классе у него собралась коллекция перьев, потом были спичечные этикетки и марки. Но это была преходящая мелочь. А теперь, когда он освоил весь технологический процесс – от выбора выдержки до наката фотобумаги на стекло, – он начал коллекционировать мгновения жизни. В нем пробудилась настоящая страсть коллекционера, и она не утихла уже никогда.

К концу школы собрался настоящий фотоархив, довольно культурный: каждая фотография подписана карандашом на обороте – время, место, действующие лица, все негативы в конвертах... Фотоаппарат изменил жизнь еще и потому, что вскоре оказалось, что, кроме аппарата, нужно множество вещей, которые стоили больших денег. Илья сильно задумался, и тогда еще один талант в нем проснулся: предпринимательский. У матери он никогда денег не просил, научился добывать сам. Первый весенний почин того года – расшибалочка. Он лучше всех в школе играл в эту мальчишескую игру, а потом научился играть и в другие. Это приносило заработок.

Саня Стеклов не одобрял Илюшиной погони за деньгами, но Илья только пожимал плечами:

– Ты знаешь, сколько стоит пачка фотобумаги восемнадцать на двадцать четыре? А проявитель? Откуда мне брать?

И Саня замолкал. Он знал, что деньги берутся у мамы с бабушкой, и догадывался, что это не лучший способ.

Старенькая камера сделала Илью фотографом. Вскоре он понял, что ему нужна своя фотолаборатория. Обычно такие домашние лаборатории фотолюбители устраивали в ваннных комнатах, где была проточная вода для промывки пленки. Но в их коммуналке никакой ванной не было. Был чулан, где три семьи хранили тазы для мытья и корыта для стирки, а также другие нужные вещи. Чулан имел общую стену с уборной, где водопровод был, так что Илья сразу же начал обдумывать план, как туда воду отвести и как вывести. О соседях, имевших равные права на чулан, Илья сразу не подумал.

В квартире, кроме Ильи с матерью, еще жила безвредная одинокая старушка Ольга Матвеевна и вдова Граня Лошкарева с тремя детьми, из которых двух младших Марья Федоровна часто сама водила в сад, где и работала. И вообще Марья Федоровна много помогала этой самой Гране.

Словом, Марья Федоровна попросила, и соседи ей не отказали – вытащили из чулана свои корыта, и теперь дело было за Ильей. Он еще успел написать отцу письмо с просьбой помочь устроить ему «проявочную». Отец растрогался, прислал сто пятьдесят рублей, а на переводе две строчки: «Приеду на майские праздники, все сделаем». Это было последнее его письмо – до майских он не дожил.

Воду в чулан протянули не сразу, года через полтора, но появился у Ильи свой закуток, где он теперь проводил много времени. Втащил туда найденный на помойке книжный шкаф, расположил в нем свое фотоимущество.

Пятый класс длился бесконечно. Шел тринадцатый год жизни – мальчишки постепенно наполнялись тестостероном, у самых ранних отрастала шерстка в укромных местах, открывались гнойнички на лбу, все чесалось, ломило, ныло, стало больше драк и ссор, и тянуло себя потрогать, облегчить неопределенное изнывание плоти.

Миха изнурял себя коньками. В результате тайных утренних тренировок он стал здорово кататься. И еще он пристрастился к чтению. Он и раньше читал все подряд, что в руки попадалось, а теперь Анна Александровна давала ему замечательные книги – Диккенса, Джека Лондона.

Тетя Геня ровно в десять часов вечера единожды всхрапывала с лошадиной силой, после чего до утра храпела тихонько и мерно. Минна укладывалась еще раньше и, покопавшись немного, быстро засыпала. Тогда Миха выскальзывал на кухню и читал там под общественной лампочкой сколько влезет, и ни разу не был пойман. Сидел, поковыривая тугие прыщи, с книжкой для юношества, ничего общего не имевшей с беспокойством его тела.

Саня как будто отставал от товарищей не только ростом – чистый лоб, чистый воротничок, нежный мальчик. Но и в нем тоже происходил процесс возмужания. Он объявил маме и бабушке, что больше не будет ходить на физиотерапию – всем ясно, что рука не выправится и музыкантом он никогда не будет. Мама и бабушка обе были музыкантами домашней квалификации, обе мечтали о музыкальной карьере, но обоим пришлось бросить обучение – время было совершенно немusикальное, были трубы, гремели литавры, звучали марши-гимны, замаскированные под уличные песни.

Лучшее, что было у двух одиноких женщин, – Саня, он обещал стать музыкантом, и все шло замечательно, и педагог был прекрасный, и намечалось будущее... Теперь, после несчастного случая с ножом, в музыкальную школу Саня перестал ходить. Анна Александровна и Надежда Борисовна подготовились к ответственному разговору заранее. Анна Александровна сказала, что при его музыкальности не следует так окончательно порывать с музыкой. Профессионалом он не будет, но что мешает ему заниматься игрой на фортепиано дома – в домашнем музицировании есть особая прелесть. Саня немного поупрямствовал, отказываясь, но недели через две согласился. Стал заниматься дома с бабушкиной подругой, Евгенией Даниловной.

Он играл своими маленькими бесперспективными, изувеченными руками на любимом пианино карельской березы. Млел от шопеновских вальсов, как его ровесники от дворовых девочек, к которым можно было прикоснуться в суматохе игр и беготни. Читал, играл, а иногда делал то, что мальчики его возраста способны делать только в виде наказания, – гулял вдвоем с бабушкой по близлежащим бульварам.

Года два ходила к ним Евгения Даниловна, а потом занятия эти расстроились. Отчасти из-за Лизы: успехи ее были столь велики, а Санины столь незначительны, что он стал отлынивать.

Анна Александровна была преподавателем русского языка, но особой квалификации – учила русскому иностранцев.

Что это были за иностранцы! Молодые люди из коммунистического Китая, приехавшие обучаться в Военной академии. Это была восьмая или девятая профессия из тех, которыми Анна Александровна овладела после окончания гимназии, и на этот раз ее все устраивало: и отношение к ней начальства, и неполный рабочий день, и очень хорошая зарплата с разного рода добавками и привилегиями, включая прекрасный военный санаторий, которым она имела право пользоваться раз в год бесплатно.

Надежда Борисовна, Санина мать, была рентгенотехником. Профессия редкая, вредная, однако с коротким рабочим днем и бесплатным молоком для укрепления здоровья. Жизнь, несмотря на то что они могли считаться хорошо устроенной семьей, была непростой: слишком много скрытого недовольства копилось у матери с дочерью. Обе безмужние, потерявшие и тех мужчин, которые были их мужьями, и других, мужьями не ставших. Но бестактный вопрос, где же их мужья, никто не задавал. Кому положено, те знали. Спасибо, оставили в покое.

Миха проводил много времени у Стекловых. Саня трогал пальцами клавиши, они отзывались. Чудились какие-то переговоры между мальчиком и инструментом, но Миха, догадываясь о тайном смысле происходящего, понимать этого до конца не умел.

Он сидел в уголке, шелестел страницами, ждал прихода Анны Александровны, чтоб поговорить. Она ставила перед ним простое печенье, чашку чая с молоком и присаживалась рядом – с папиросой, которую не столько курила, сколько держала в красиво выгнутых пальцах. Иногда и Саня отходил от инструмента, садился на край стула. Но он своим присутствием немного

им мешал. Миха стремительно перерастал Диккенса, и Анна Александровна, не раздумывая, несла Пушкина.

– Да я уже читал! – противился Миха.

– Это как Евангелие – всю жизнь читают.

– Дайте лучше Евангелие, Анна Александровна, его-то я не читал...

Анна Александровна засмеялась, качая головой:

– Меня твои родственники убьют. Но, честно говоря, никакую европейскую книгу нельзя понять, не зная Евангелия. А уж про русскую и не говорю. Саня, принеси, дружочек, Евангелие. На русском.

– Нюта, – фамиллярно поддел тот бабушку, – по-моему, ты просто растлитель малолетних.

Но книгу в черном переплете принес.

Уговорились, что читать Евангелие Миха будет, не вынося из их дома, и никому об этом не скажет. Сколько же теперь всего было у Михи – дом со своей раскладушкой, тетя Геня с супом, дебелая дебильная Минна, задевающая его постоянно то боком, то толстым бюстом, друзья Саня и Илья, Анна Александровна, коньки, книги...

В середине марта наступила оттепель, каток растаял, и Миха смазал коньки машинным маслом, как учил его Марлен, – для сохранности. Однако рано: ударили морозы, каточек заledenел, и Миха снова встал на коньки. Ясно было, что скоро зима кончится. Теперь он уже и после обеда выходил во двор. Так и вышло, что все увидели его драгоценность. Подобных коньков ни у кого не было, все прикручивали какую-то дрянь к валенкам, и только у одного Михи были настоящие, с ботинками. О них мгновенно прошла по дворам большая слава. Дня через два Мурыгин пришел на них посмотреть. Постоял, посмотрел и ушел. На другой день, возвращаясь с дворового катка, Миха в парадном был прижат к стене Мурыгиным и Мутюкиным.

Дело было ясное – им приглянулись коньки.

– Давай снимай! – потребовал Мутюкин.

Мурыгин заломил Михе руки, Мутюкин подшиб под колени, Миха завалился. Они ловко стащили с ног коньки и убежали. Миха, в шерстяных носках, мелькая пятками, рванул за ними. Он нагнал их у ворот, уцепился за Мурыгина. Тот перекинул коньки Мутюкину. Мутюкин понесся с коньками по Покровке. Миха следом за своими коньками, с воплями, в сторону Покровских Ворот. Конечно, они бежали к Милютинскому саду, там был каток.

С Чистопрудного бульвара медленно выползал трамвай. Миха почти догнал Мутюкина – тот бросил коньки Мурыгину, но Мурыгин их упустил, и они упали между рельсами. Все трое кинулись за коньками. Трамвай закричал ужасным голосом, потом взвизгнул, захлебнулся звоном, заскрежетал. Миха упал. Когда открыл глаза, коньки лежали перед его носом. Мутюкина видно не было. Перед трамваем дымилась какая-то куча. Тряпье, кровь, вывернутая нога. Это были остатки Мурыгина. Набежала воющая толпа. Позади дребезжали трамваи. Миха встал, взял коньки... Нет, это был только один конек. Сгорбившись, он пошел домой. Он шел босиком по ледяной земле, носки куда-то делись, но ничего этого он не замечал. Возле подъезда он швырнул конек в сторону катка и, стуча зубами, вошел в подъезд, из которого выбежал ровно пять минут тому назад.

В подъезде подобрал свои ботинки, сунул в них голые ступни и понесся к Анне Александровне. Она выслушала его, ничего не сказала, но налила тарелку грибного супа и поставила перед ним.

Миха доел суп, Анна Александровна пошла на кухню с грязной тарелкой.

– Я этого не хотел, клянусь тебе! – тихо сказал Миха Сане.

– Да кто ж такого хочет? – мотнул головой Саня.

Ужасный звук трамвайный все разрушил,
Весь мир он поменял и разрубил.
И все, что было, есть и дальше будет.
А вот Мурыгин БЫЛ.

Это стихотворение сочинил Миха в день похорон Мурыгина. Хоронили Славу Мурыгина всей школой, как национального героя. Завуч и два старшеклассника возложили на могилку венок, купленный на собранные общественные деньги, и надпись была сделана золотым по красному.

Миха, свидетель и, как он считал, виновник этой смерти, все переживал ту минуту, ее молниеносную случайность: вот мелькнувшие в воздухе коньки, вот металлический вопль трамвая и неопрятная куча под трамвайными колесами вместо ничтожного и вредного мальчишки, кривляющегося и скачущего вдоль улицы за минуту перед тем. Жалость огромного размера, превышающая Михину голову, и сердце, и все тело, накрыла его, и это была жалость ко всем людям, и плохим, и хорошим, просто потому, что все они беззащитно-мягкие, хрупкие, и у всех от соприкосновения с бессмысленной железкой мгновенно ломаются кости, разбивается голова, вытекает кровь, и остается одна лишь безобразная куча. Бедный, бедный Мурыгин!

Ни у кого не сохранилось классной фотографии за пятьдесят второй год, только у Ильи. В его фотоархиве все фотографии были его собственные, авторские, только первые две сняты не им.

Одну сделал Василий Иннокентиевич в день Саниного рождения. Вторая была снята ремесленным фотографом: послевоенные недокормленные мальчишки стоят на этом снимке в четыре рядка. Нижние сидят, а верхние стоят на стульях, все в окружении толстых колосьев, складчатых знамен и пупырчатых гербов – декоративной рамки, которая была базисом, а вся бритоголовая мелочь, с лупоглазой училкой в середине, – надстройкой над стульями из актового зала. Мурыгин и Мутюкин стоят рядом, в верхнем ряду, с левой стороны. Мурыгин смотрит в сторону, маленький, наголо стриженный мальчик, незначительный и неопасный. Стеклова на фотографии нет – он болел. Миха в самом углу, внизу. В центре – классная руководительница, русичка, имя которой все забыли, потому что после пятого класса она навсегда ушла в декретный отпуск. Мутюкин в пятом классе остался на второй год, а вскоре и затерялся. Его карьера продолжалась в ремесленном училище, а потом и на зоне. Мурыгина больше не было нигде.

Новый учитель

В шестом классе на место никому не запомнившейся училки-русички пришел новый классный руководитель, Виктор Юльевич Шенгели, литератор.

Вся школа его заметила с первого же дня: он быстро шел по коридору, правый рукав серого полосатого пиджака был подколот чуть пониже локтя, и полруки в пиджаке слегка колыхалось. В левой он нес старорежимный портфель с двумя медными замками, по виду гораздо более старый, чем сам учитель. Прозвище ему образовалось уже в первую неделю – Рука.

Он был скорее молодой, лицо красивое, почти как у киноактера, но излишне подвижное: он то улыбался неизвестно чему, то хмурился, то подергивал носом или губами. Неправдоподобно вежливый, он всем говорил «вы», но при этом был невероятно ехиден.

Для начала он сказал Илье, когда тот проходил между рядами парт своей шаткой походкой: «А вы что здесь вихляетесь?» – и Илье его мгновенно и сильно невзлюбил. Потом учитель взял журнал, сделал переключку. На фамилии «Свиньин» – был такой несчастный ученик – сделал остановку, внимательно посмотрел на мелколицего Свиньина и сказал со странной, не то почтительной, не то насмешливой интонацией: «Хорошая фамилия!» Класс заржал с готовностью, Сенька Свиньин налился краской. Учитель поднял недоуменно брови:

– Да что вы смеетесь? Почтенная фамилия! Был старинный боярский род Свиньиных. Петр Первый посылал одного Свиньина – не помню, как звали, – в Голландию учиться. Да вы и «Князя Серебряного» не читали? Там Свиньин упоминается. Интереснейшая книга, между прочим...

Уже через три месяца все, включая Илью, Сеню Свиньина и в особенности Миху, смотрели учителю в рот, обсуждали каждое его слово и дергали губами и бровями точно как он.

И еще Рука читал стихи. Каждый урок, пока все усаживались и вынимали тетради, он начинал с какого-нибудь стихотворения и никогда не говорил, кто его написал. Выбирал причудливо – то общеизвестный «Белеет парус одинокий», то непонятный, но запоминающийся «...и воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы», то совсем уж ни с того ни с сего какую-то абракадабру:

Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море,
Зеленый край за паром голубым.
Остановившееся дико сердце.
Никто не видел, как в театр вошла
И оказалась уж сидящей в ложе
Красавица, как полотно Брюллова,
Такие женщины живут в романах,
Встречаются они и на экране...
За них свершают кражи, преступления,
Подкарауливают их кареты
И отравляются на чердаках...

У Михи кровь к лицу прилиwała от таких стихов, хотя другим было хоть бы что. Но учитель на Миху и поглядывал. Миха был почти единственный, кто заглатывал рифмованные строчки, как ложку варенья. Саня улыбался снисходительно учительской слабости – некоторые были те самые, что бабушка читала. Другие ребята это пристрастие учителю прощали. Стихи представлялись им делом женским, слабоватым для фронтовика.

Но иногда он вдруг читал стихотворение совершенно по делу – когда начинали тему «Тарас Бульба», он вошел в класс и прочитал явно про Гоголя:

Ты, загадкой своенравной
Промелькнувший на земле,
Пересмешник наш забавный
С думой скорби на челе.

Гамлет наш! Смесь слез и смеха,
Внешний смех и тайный плач,
Ты, несчастный от успеха,
Как другой от неудач.

Обожатель и страдалец
Славы, ласковой к тебе,
Жизни труженик, скиталец
С бурей внутренней в борьбе.

Духом схимник сокрушенный,
А пером Аристофан,
Врач и бич ожесточенный
Наших немощей и ран!

На все, ну буквально на все случаи жизни был у него заготовлен стишок!

– Мы изучаем литературу! – объявлял он постоянно, как свежую новость. – Литература – лучшее, что есть у человечества. Поэзия – это сердце литературы, высшая концентрация всего лучшего, что есть в мире и в человеке. Это единственная пища для души. И от вас зависит, будете вы вырастать в людей или останетесь на животном уровне.

Позже, когда всех ребят уже знал по именам и расставил в ряды – не так, как на классной ежегодной фотографии, и не по алфавиту, а своим собственным фасоном, – когда все сблизилась через разговоры о хитроумном Одиссее, о таинственном летописце Пимене, о несчастном сыне Тараса Бульбы, о честном глуповатом Алексее Берестове и смуглой умнице Акулине – всё по школьной программе, между прочим, – мальчишки стали задавать вопросы о войне: как было? И сразу стало ясно, что Виктор Юльевич литературу любит, а войну – нет. Станный человек! В то время все юное мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало.

– Война – самая большая мерзость из тех, что выдумали люди, – говорил учитель и пресекал все вопросы, которые дымились на мальчишеских устах: где воевал? какие награды? как ранило? сколько фашистов убил?

Однажды рассказал:

– Я окончил второй курс, когда война началась. Все ребята пошли сразу же в военкомат и были отправлены на фронт. Из моей группы я один остался жив. Все погибли. И две девочки погибли. Поэтому я обеими руками против войны.

Он поднял вверх левую, а половина правой качнулась, но подняться не смогла.

По средам литература была последним уроком, и, закончив, Виктор Юльевич предлагал:

– Ну что, пройдемся?

Первая такая прогулка была в октябре. Пошли человек шесть. Илья спешил домой, как всегда, Саня в тот день прогуливал, что часто делал с позволения бабушки, так что компанию представлял один Миха, который потом почти дословно пересказал ребятам все удивитель-

ные истории, услышанные от учителя по дороге от школы к Кривоколенному переулку. Речь тогда шла о Пушкине. Но рассказывал о нем Виктор Юльевич так, что возникало подозрение, не учились ли они в одном классе. Оказалось, что Пушкин был картежник! Оказалось, что он страшно волочил за дамами! То есть был попросту бабник! К тому же он был большим задирой, никому ничего не спускал и всегда был готов поскандальить, пошуметь, пострелять на дуэли.

– Да, – грустно сказал Виктор Юльевич, – вот такое поведение привело к тому, что его считали бретером.

Никто и не спросил, что означает это иностранное слово, потому что и так было ясно: задира.

Потом он подвел их к обшарпанному дому на первом от улицы Кирова повороте, который делал этот Кривоколенный, указал широким жестом левой руки на дом и сказал:

– Вот, а теперь представьте себе! Здесь, конечно, никакого асфальта, дорога замощена брусчаткой, оттуда, с Мясницкой, выезжает карета. Ну, скорее не карета, а такая небольшая повозка с извозчиком. Пушкин был в Москве в гостях, отчасти по делу, здесь у него было множество родни и друзей, но дома своего никогда в Москве не было, да и выезда тоже. Если не считать квартиру на Арбате, которую он снимал после свадьбы совсем недолго, а потом уехал в Петербург. Он Москвы не любил, говорил, что здесь «слишком много теток». Вот, представьте, через сто лет после смерти Пушкина одна дама здесь проходила – после революции дело было – и вдруг с Мясницкой – цок-цок-цок! – заворачивает извозчик, останавливается вот здесь, из пролетки прыгивает Пушкин – простучал сапогами по брусчатке и исчез в этом доме. Дама – ах! И тут вмиг все пропало – и брусчатка, и пролетка, и извозчик с лошаdkами. Стали говорить, что дом этот с привидениями. Ну, так это было или не так, сейчас уже мы не выясним. А вот то, что в этом самом доме – здесь жил тогда поэт Веневитинов – происходило в октябре 1826 года, подтверждено многими свидетельствами: в парадной зале этого дома Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов». Было человек сорок гостей, и почти половина из них написала об этом в письмах родственникам сразу же или в воспоминаниях много лет спустя. Вы ведь все читали «Бориса Годунова», не так ли? Кто коротко перескажет содержание?

Миха всегда вызывался, но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осямиться.

Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четвериков сказал неуверенно:

– Он царевича Лжедмитрия убил.

– Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна – что Борис Годунов убил царевича Дмитрия. Вторая – что он не убивал царевича Дмитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека – Лжедмитрия – полностью меняет представления историков. Не огорчайтесь, история – не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Нагой, где произошло – или не произошло! – убийство Дмитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь.

– Да, конечно. Гений и злодейство несовместны! – выпалил Миха.

– Да, я тоже так думаю. Вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина – это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательство того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с «Маленькими трагедиями» спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: несовместны в одном человеке гений и злодейство.

Стало смеркаться, Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам, в разные стороны Китай-города.

Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «ЛЮРС» – любителей русской словесности.

Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого «выхода на натуру» – так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем, и весьма ответственным. Протоколы ЛЮРСа вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу, в заветном чулане.

«Люрсы», участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя.

Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками – контузия, теперь они знали, – рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны.

Его направили в артиллерийское училище, в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи – бой, отступление, наступление, ранение... А какие орудия? А какие снаряды? А у немцев?

Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны...

Подготовка в Тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле. Курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых «в войнушку», если бы в течение двенадцати часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность, которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой одутловатый ополченец обматерил командира: ты, начальник, кому приказываешь? Мне пятьдесят лет, а тебе восемнадцать. Ты и таскай ящики.

Курсант, которому было уже девятнадцать, слова не сказав, побежал за снарядами. Сто метров туда, налегке, сто обратно, с пятидесятикилограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал – огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых – никого.

И хоронить было некого – прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем... Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал.

Когда осаду с Тулы сняли, училище перевели в Томск, по крайней мере тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его – вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор тысячу раз возвращался мыслями туда: как правильно... как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рывкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый...

Решил, что командиром быть не может. Только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Отказали – до выпуска было полтора месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым, без присвоения офицерского звания.

И он нашел правильного размера преступление. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке: отсидел десять дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны – для него-то она закончилась в сорок четвертом, после ранения, – ни единого раза не приходилось ему отда-

вать приказов. Только выполнять. Задание всегда одно и то же: из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот – поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться... Приказывали – стрелял. Нет – нет, об этом не говорил. Об этом – молчал.

– А где вас ранило? – спрашивали ребята.

– В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли.

Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой – круглым лежащим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак – сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявшей запах войны, и в офицерских, не по чину, сапогах.

Университет на Моховой! Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом...

В сорок восьмом, незадолго до окончания, предложили аспирантуру: и руководитель был прекрасный, медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная – с романо-германским уклоном, по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался – еще хотелось преподавать детям, – казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор, выбор...

Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился – несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили...

Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу.

Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топились печи. Дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра, а магазин открывался в девять, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства: безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем... Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей, учителей. Приношения он делил с уборщицей Марфушей, нелюдимою вдовой со странностями, но пил в одиночку. Не много и не мало – ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал.

Кроме литературы, еще приходилось учить географии и истории. Математику и физику вел директор школы, заодно и общественные науки, которые, меняя названия, все были историей партии. Остальные предметы – биологию и немецкий язык – преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко – до войны работала с академиком Вавиловым, нераскайвавшимся вейсманистом-морганистом.

Всё в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом.

Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненные платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, – нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся?

Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недорослые мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испыты-

вали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. Да и сами они только этого и желали.

Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских.

Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено.

Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других – юность, у третьих – свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость – аспирантура.

После трехлетнего срока полуссылки – места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства, – выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевицкий переулок, в дом с рыцарем в нише у входа.

Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в десяти минутах от дома, вблизи Исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи.

Он пытался восстановить университетские связи, искал общения. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости: получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку: Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «три руки, три ноги».

Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше.

Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подsunуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток – с одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музей, куда водил он свой класс. Мишка шутил: повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются, а то была б одна, точно бы тебя охомутала...

Но «охомутала» его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали.

Они были нормальные дети – баловались на уроках, перекидывались шариками из жеваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки

их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с рифмованными строчками Миха Меламид.

– Понятно, понятно, – вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе».

Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были – эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнуто-интеллигентный Саня. Неразлучная троица.

И сам он когда-то принадлежал к такой троице, часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками – «Бригантина, бригантина!» – каково бы им было сейчас... Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство...

Пока еще шел год пятьдесят третий, и март еще не наступил, антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стояла и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.

Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Дед-грузин был женат на немке – вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых фельдшерниц, обвенчался с поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей.

От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в двенадцатом году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза.

Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике.

В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики (это она звала его с детства почти женским именем «Вика», и привязалось, привилось к нему это имя) все то, что неподручно делать одной рукой: отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья...

Чего в Викторе Юльевиче категорически не было – гордого чувства принадлежности к какому-нибудь народу, он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские эти времена были отвратительны ему более всего эстетически: некрасивые люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль, и чувство, и знание. Разрыв был непреодолим, и все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, примиряли его с тошнотворной действительностью.

И еще – женщины. Ему нравились прекрасные женщины. Они мелькали в его жизни коротко и празднично, чаще в последовательном порядке, иногда и в параллельном, и все они казались ему равно прекрасными.

Надо сказать, что и он нравился женщинам. Он был красив, и даже его физический изъян – о чем он не скоро догадался – обладал притягательностью. Красавицы соглашались на инвалида не только по той очевидной причине, что в послевоенное время мужчин было меньше, чем нужно для воспроизводства, как сказал бы ветеринар. Он был особенно привлекателен, потому что женщины ошибочно полагали, что уж он-то, со своим изъяном, будет принадлежать полностью и безраздельно.

Напрасно. Он никому не собирался вручать никаких прав на себя, что неявно предполагал брачный союз.

Бунин, Куприн и Чехов с его «Дамой с собачкой» развернули в русской литературе неизведанное до начала двадцатого века пространство «небожественной» любви – вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что девятнадцатый век именовал «грязным».

Ни один из этих авторов не знал о главной проблеме нашего послевоенного времени – территориальной, которая в равной мере касалась и приверженцев любви божественной, и любовников с самыми примитивными устремлениями. Где? Где может состояться любовное свидание у человека, живущего в одной комнате с матерью, в городе, где нет гостиниц, куда можно привести даму для совместного переживания «солнечного удара», и даже каюты, где можно уединиться, и то не найти. Разве что летом на природе, но летнее время столь коротко в нашем климате...

Привести девушку к себе домой, за гобеленовую завесу, отделявшую мужскую, сыновнюю, половину комнаты от женской, материнской, было невозможно. Снять комнату для свиданий – отвратительно, да и дорого, просить ключ от квартиры у одинокого приятеля – все-таки неловко... Брезгливость Виктора Юльевича стояла на охране его нравственности.

Впрочем, ему везло, подруги его все были с жилплощадью. Разведенная Лидочка, к которой он захаживал, с красивой шеей и чудесной грудью, проживала в отдельной комнате, потом случилась Таня-травести, маленькая, вся на пружинках, подпрыгивающая даже на улице. Муж ее работал актером где-то в Саратове, а она снимала комнату на Сретенке, в удобном пешеходном расстоянии. Еще была Верочка, французская переводчица, образованная умница, с которой они ездили на пустую дачу ее родителей.

Ни одна из этих женщин не заходила к нему домой – Ксения Николаевна не переносила посторонних женщин. Мать с сыном мирно жили вдвоем, ни о каких переменах Виктор Юльевич не помышлял.

Утром второго марта они завтракали мягкими внутри и сильно зажаренными снаружи гренками. Ксения Николаевна порезала их на удобные для Вики куски. Эта мелочная, иногда совершенно излишняя опека возвращала ее к тем временам, когда Вика был маленьким мальчиком, она молода и красива, а муж жив.

Чай был заварен крепко, как любил покойный муж. Мирный завтрак был прерван правительственным сообщением – о болезни Сталина. Ксения Николаевна всплеснула руками, Виктор дернулся лицом. Помолчал, потом сказал:

– Дуба дал. Точно. Неделю будут морочить голову, а потом объявят.

– Не может быть.

– Почему же? Да было уже. Когда Александр Первый умер в Таганроге, курьер с известием о смерти ехал в Петербург, и после того, как он проехал через Москву, Голицын приказал разносить бюллетени о состоянии здоровья государя. Неделю городские носили по домам сводки.

– Да что ты! Откуда ты взял такое?

– Ну, сначала набрел в записках князя Кропоткина на эти бюллетени, а потом уж в Историчке и бюллетени нашел. Наденьте лицо, мадам, изображайте скорбь. Идут перемены.

– Страшно, – прошептала она. – Страшно, Вика.

– Ничего. Хуже не будет.

И отправился в школу. В учительской стояло тугое тревожное молчание. Если кто и говорил, то шепотом. Он поздоровался, взял журнал и пошел к своим мальчишкам.

Открыв дверь в класс, Рука с порога под утихающий гул стал читать:

Конница – одним, а другим – пехота,
Стройных кораблей вереница – третьим.
А по мне – на черной земле всех краше
Только любимый.

Очевидна всем, кто имеет очи,
Правда слов моих. Уж на что Елена
Нагляделась встарь на красавцев... Кто же
Душу пленил ей?

Муж, губитель злой благолепия Трои.
Позабыла все, что ей было мило:
И дитя, и мать – обуяна страстью
Властно влекущей...

– Ну, кто же мне скажет, что такое лирика? – спросил учитель, когда перестали хлопать крышки парт.

Класс замер. Виктор Юльевич наслаждался этой минутой – он научился создавать эту думающую тишину.

– Это про любовь, – сказал кто-то смелый.

– Правильно, но это будет неполный ответ. Лирика – это про всякие человеческие переживания, про внутреннюю жизнь человека. Ну и, конечно, про любовь. А также про печаль, про одиночество, про расставание с любимым человеком. Или даже не с человеком... Есть очень знаменитое стихотворение, тоже написанное до нашей эры, – на смерть воробышка. Я не шучу...

Плачьте, Венера и купидоны,
Горе всем тем, в ком сердце нежно.
Воробышек Лезбии милой моей умер,
Воробышек возлюбленной моей умер.
Пуще зеницы ока был он ей дорог,
И меда был слаще, знал хозяйки голос,
И льнул к ней, как к матери дочка родная.
С колен не слетал ее, только прыгал
Туда и сюда по ее подолу,
Чирикая ради одной хозяйки.
Теперь он в потемках бредет в тот мир жуткий,
Откуда возврата вовек не бывает.

Это тоже пример лирического стихотворения...

Вот мы с вами уже говорили о Гомере, немного читали из «Илиады», мы знаем об Одиссее. И уже знаем, что такое эпос. Ученые считают, что эпические произведения появились раньше, чем лирика. Вот в первом стихотворении, которое я прочитал, написанном в седьмом веке до нашей эры, упоминается Елена. Догадались ли вы, что это та самая Елена, из-за которой, как говорит легенда, началась Троянская война? С ней сравнивает автор свою любимую.

Эту «прекрасную Елену», жену царя Менелая, похищенную Парисом, мы встречаем даже у поэтов современных. Так она из эпоса перекечевала в лирику – как образ красавицы, покоряющей мужские сердца...

В глубокой древности, когда человеческая культура только возникала, слово было гораздо теснее связано с музыкой. Стихи читали вслух, им аккомпанировали на музыкальном инструменте, который назывался лирой. Откуда и пошла «лирика». За две с половиной тысячи лет многое изменилось: теперь редко читают стихи с музыкальным сопровождением, зато появились новые жанры, в которых слова и музыка нераздельны... Ну, давайте примеры...

Звенел звонок, а они всё сидели как одурманенные его словами. Почему не хлопали крышками парт, не срывались с воплями с мест, не кидались поспешно к двери, затыкая телами выход из класса – скорее прочь, прочь! В коридор, в раздевалку, на улицу!

Почему они его слушали? Почему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чем они совершенно не нуждались? И волновало ощущение очень тонкой власти – они на глазах обучались думать и чувствовать. Какой оазис посреди скучного безобразия!

Три дня спустя объявили о смерти Сталина, и Виктор Юльевич испытал несколько мелочное чувство удовлетворения – он догадался об этом раньше всех. К тому же он принадлежал к тому абсолютному меньшинству, которое оплакивать великую утрату не собиралось. Родители отправляли его в Грузию на все лето, и последний раз они были в Тбилиси всей семьей незадолго до смерти отца, в тридцать третьем году.

Он знал от отца, как презирала, боялась и ненавидела Джугашвили вся их грузинская родня.

Умер тиран. Умер титан. Существо древней породы, из подземного мира, страшное, сто-рукое, стоглавое. С усами.

В школе отменили занятия, школьников собрали на митинг. Виктор Юльевич вел своих шестиклассников, выстроенных попарно, на четвертый этаж, а Миха все вертелся возле него с бумажкой, совал ему в руку тетрадный лист, покрытый крупными лиловыми буквами. Стих написал.

Слова «Смерть Сталина» были взяты в рамку.

Плачьте, все люди, живущие здесь и повсюду,
Плачьте, врачи, машинистки и люди другого труда.
Умер наш Сталин, другого такого
Больше не будет нигде никогда.

«Привет тебе, Катулл», – усмехнулся про себя Виктор Юльевич и сказал тихо:

– Ну, врачи, допустим, понятно. А машинистки почему?

– Вообще-то моя тетя Геня была машинистка. Ну, можно «машинисты», – поправил на ходу Миха. – А можно я прочитаю?

Да, эта активность до добра не доведет.

– Нет, Миха, я вам не советую. Пожалуй, категорически не советую.

Миха хотел забрать листок, но учитель ловко сложил его пополам, прижав к груди:

– Можно, я возьму его на память?

– Конечно, – просиял Миха.

Зал набился полон. По радио транслировали Бетховена. Заплаканные учительницы выстроились возле гипсового бюста. Школьное знамя пунцового бархата роняло складки к полу. Виктор Юльевич стоял позади с пристойным выражением лица. Возле окна, прижатый товарищами к подоконнику, страдал восьмиклассник Боря Рахманов. Подоконник больно впи-

вался в правый бок, но податься было некуда. Это была легкая репетиция того, что произойдет с ним тремя днями позже.

После торжественного митинга с общенародным рыданием – учителя подавали пример искреннего горя, ребята подтягивались к трагической ноте – их развели по классам и усадили. Директриса все пыталась дозвониться в роно, чтобы узнать наверняка, надо ли отменять занятия и на сколько дней. Но телефон был сплошь занят. Только к часу дня сообщили, что школьников следует распустить по причине траура, а о начале занятий будет сообщено дополнительно.

Отпуская своих по домам, Виктор Юльевич просил всех сидеть дома, по улицам не шататься, а – самое лучшее! – почитать какие-нибудь хорошие книги.

Саня Стеклов последовал совету учителя с удовольствием. Он был, кажется, единственным, у кого дома стояло в шкафу полное собрание сочинений Толстого, и за четыре траурных дня Саня проглотил все четыре тома «Войны и мира», хотя, честно говоря, некоторые страницы пролистывал. Первый том, прочитав, он отдал Михе, но тот его и не раскрыл: в эти дни у него были другие заботы – тетушка Геня свалилась с сердечным приступом, Минна, как всегда в трудных обстоятельствах, заболела животом, и Миха трое суток выполнял ежеминутные поручения несколько преувеличенно сходящей с ума от горя тети Гени.

Илье плевать было и на рекомендации учителя, и на просьбы матери. Его тянуло на улицу тревожное ощущение важности происходящего. Рано утром седьмого марта, прихватив фотоаппарат, он вышел из дому с чувством охотника, предвкушающего большую удачу.

Трое суток Виктор Юльевич не выходил из дома и не выпускал мать. Хлеба не было, но он говорил ей:

– Мама, какой хлеб? У нас даже водки нет.

Действительно, запасенную матерью бутылку он выпил еще вечером пятого. Решил, что до момента, пока вождя не увезут куда-нибудь и не похоронят, выходить не будет.

Облачился в полосатую пижаму, набрал стопку книг и лег на тахту за гобеленовую завесу. Высшее счастье.

В десять часов девятого марта состоялся вынос тела из Колонного зала – низенькие люди в толстых пальто с каракулевыми воротниками, руководители государства, вынесли на руках гроб.

Тогда Виктор вышел из дома – за хлебом и за водкой. Людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улиц, и все напоминало пейзаж после схлынувшего наводнения – растоптанная обувь, шапки, портфели, разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, разбитые окна первых этажей. В арке дома – окровавленная стена. Растоптанная собака лежала в подворотне. Вспомнил Пушкина:

...Несчастный
знакомой улицей бежит
в места знакомые. Глядит,
узнать не может. Вид ужасный!

Прочитал в уме «Медного всадника» до самого конца:

...У порога
Нашли безумца моего.
И тут же хладный труп его
похоронили ради Бога...

Тут как раз, довольно далеко от дома, в переулке нашел открытый маленький магазинчик. Лестница вела в полуподвал.

Несколько женщин тихо разговаривали с продавщицей и замолкли, как только он вошел. «Как будто они говорили обо мне», – усмехнулся Виктор Юльевич.

Одна из теток признала в нем учителя, кинулась с вопросом:

– Виктор Юрьевич, это что же такое стряслось-то? Вот люди говорят, евреи подстроили ходынку эту? А вы слышали, может, что?

Она была матерью десятиклассника, но он не мог вспомнить, кого именно. Простые тетки часто называли его «Юрьевич», это раздражало. Но тут вдруг накатило на него странное, несвойственное ему смирение.

– Нет, голубушка, ничего такого я не слышал. Выпьем сегодня стопку-другую за помин души и будем дальше жить, как жили. А евреи что? Да такие ж люди, как мы. Две бутылки водки, пожалуйста, батон и половину черного. Да, пельменей две пачки...

Взял свое, расплатился и ушел, оставив теток в некотором замешательстве: может, и не евреи это подстроили, а другие какие... Врагов-то весь мир кругом. Все нам завидуют, все нас страшатся. И разговор их потек в другом, гордом направлении.

Сидели с матерью за круглым, пятнистым от ожогов столом, графинчик стоял между ними. Пельмени Ксения Николаевна принесла с кухни, как всегда, разваренные. Поставила кастрюльку на железную подставку. Виктор разлил по стопкам. И тут раздался звонок в дверь. Три звонка – к Шенгели.

Виктор пошел открывать. Чудо стояло за дверью – замотанная в кружевную черную шаль поверх меховой шапки, в мужском пальто с енотовым воротником, в облаке нафталинно-кошачьего запаха из давнего прошлого, возникла двоюродная сестра покойного отца, длинноногая красавица, певица, вышивальщица, неудавшаяся монахиня, излучавшая тепло и смех Нино.

– Ты ли? Возможно ли?

Он видел ее последний раз двадцать лет тому назад. Жил в ее тбилисском доме, который в детской памяти остался под знаком подозрения: а был ли тот дом на самом деле или приснился? Но она-то была та самая, даже не сильно постаревшая, дорогая Нино, милая Нинико...

– Вика, мальчик мой, ты совсем не изменился! В толпе бы тебя узнала!

– Господи, Нина, как ты? Откуда?

– Веди, веди в дом, не держи на пороге!

Они целовались, держали друг друга за головы, откидывались подальше, чтоб разглядеть, и снова целовались. Недоумевающая Ксения Николаевна стояла в дверном проеме – с кем там Вика целуется?

Господи, Нино! Грузинская родня, любимые кухни покойного мужа, из прошлого, из далекого прошлого...

Возможно ли? Да проходи! К столу, к столу! Да, руки помыть!

– А как же, как с кладбища, первым делом руки помыть! – Акцент грузинский, еще сильнее, чем прежде, в голосе смех, торжество.

Руки помыла, потом зашла в уборную и еще раз помыла руки. Ксения Николаевна уже поставила на стол третий прибор – все тарелки старые, в сколах и трещинах.

Виктор разлил водку.

– Сначала – за освобождение! Это как сорок лет по пустыне... Сдох! Мы вышли! – сказала она вопреки застольному порядку, который в Грузии всегда соблюдался. Женщина, гостья – первая не говорит!

Они выпили. Нино отщепила вилкой четверть пельменя, деликатнейшим образом положила в почти закрытый рот. И Виктор вспомнил, как учила она его есть, пить, входить,

садиться, здороваться. Все забыл начисто. И все делал так, как она его когда-то учила, забывши о самих уроках.

– Да как тебя сюда занесло, скажи, Ниночка?

Она откинулась на спинку стула, завела руки за голову и захохотала молодым смехом. Потом сбросила улыбку, сняла с плеча черную кружевную косынку, обмотала голову, встала, подняла вверх свои изумительные нестареющие руки и издала длинный вздымающийся вверх вопль. Потом сверху звук обрушился вниз, и слов почти никаких не было, потому что это был плач по умершему – древний, ни в каких словах не нуждающийся вопль скорби, в котором была и тоска, и боль, и торжество.

Нино закончила это древнее бессловесное высказывание и снова захохотала.

«Опьянела, бедняжка», – подумала Ксения Николаевна.

Отсмеявшись, Нино рассказала историю, которая на долгие годы станет самым любимым ее рассказом для близких людей.

Пятого марта, когда о смерти Сталина еще не объявили, в дом пришли двое энкавэдэшников и забрали ее. Хотели взять и сестру Манану, но та уехала в Кутаиси еще на прошлой неделе и дома ее не было.

Мама собирает вещи, плачет и шепчет:

– Не хочет, сатана, не хочет оставить нас в покое!

А сотрудник понял, глядя на сборы мамины, и говорит:

– Дочь ваша через три дня дома будет, ну, через пять. Слово даю.

Маму ты ведь помнишь, Вика? Ксения, конечно, помнит! Ей девяносто, она и молодая ничего не боялась, а уж сейчас чего ей бояться.

– О, слово твое как золото. А руки вот как железо!

– Напрасно обижаете, Ламара Ноевна, – говорит один из гаденышей. – Вашей дочери большая честь оказана, – он говорит.

Привез меня в горком партии. Да, честь большая. Там свет повсюду горит, народу по коридору носится туда-сюда без счету, как на Руставели в праздничный день. Ведут в зал. Полный зал женщин сидит – разного вида, есть совсем деревенские, но и Верико сидит, и Тамара, и сестры Менабде, певицы.

Выходят двое – сначала один говорит, мол, мир потерял, народ безутешен, всенародное горе... Думаю, это меня сюда ради этих слов привезли? Потом второй говорит – мы собрали вас, потому что по древнему грузинскому обычаю женщины оплакивают дорогих покойников. Только женщины могут это делать. Мы собрали вас, чтобы вы сделали хороший плач.

Вика, Ксения, я просто чуть сразу же не запела «Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его!».

– Про всех про вас нам известно, – говорит этот крот лысый, – что вы пели на похоронах, знаете плач грузинский. Из Москвы нам сказали, что руководство хочет, чтобы вы оплакали нашего великого вождя.

Да я плачи эти никогда и знать не знала, панихиду пела много, а плачи эти языческие христиане не поют. Это вой, а не пение. Все равно, думаю, поеду! Не могу себе отказать в таком удовольствии.

Сколько там женщин было, не скажу. Очень много, полный самолет. Кто плачет, кто гордится, но все от страха трясутся. Признаться, я в самолете никогда не летала и не полетела бы ни за что – только по такому случаю.

Прилетели ночью, на автобусах отвезли за город, вроде гостиницы. Выспаться не дали, пришел грузин, собрал нас. Говорит, музыкант. Руководить будет. Лицо знакомое, где видела... Все смотрю, смотрю, а он отозвал меня и шепнул тихо в ухо: я брат Микеладзе... Ой, сатана, сколько народа погубил.

Словом, день плачем, ночь плачем, еще день плачем, мне уж надоело. Репетируем!

А вечером восьмого числа сообщают, что плач отменяется. Почему захотели, почему расхотели – черт знает! Всех погрузили в автобусы, повезли не знаю куда. А я лежу на кровати и кричу – ой, приступ какой, ой, боли! Думаю, нет, не поеду, пока тебя не увижу. Мне начальник какой-то говорит – билет тебе потом самой брать придется. Ой, кричу, боли какие! Возьму билет.

Наливай еще, Вика! Первый раз в жизни водку пью, первый раз в жизни соврала, первый раз в жизни великого злодея хороним!

– Тише, Нино, тише, – тронула ее за плечо Ксения Николаевна.

Та кивнула и приложила свои прекрасные руки к губам. Виктор взял ее правую руку в свою левую и поцеловал. В жизни что-то менялось. В лучшую сторону...

Дети подземелья

Илья шнырял по городу, все пытаясь понять, куда идет эта невиданная демонстрация. Он установил, что у нее много хвостов, и один из них начинается – или кончается – у Белорусского вокзала, а второй где-то на стыке трех бульваров – Петровского, Рождественского и Цветного. Он потолкался там, понял, что пленки мало, и, когда совсем стемнело, не без труда пробрался к дому. В одном месте, возле Почтамта, пришлось перелезть через забор. Никто, даже участковые милиционеры, не знал географии здешних мест лучше, чем здешние мальчишки. Здесь они годами играли в «казаки-разбойники», все проходные дворы и подъезды и даже канализационные люки знали наизусть. Во многих квартирах были черные лестницы, войдя с парадного входа, можно было позвонить к какому-нибудь однокласснику в дверь, прошмыгнуть через длинный коридор и выскочить черным ходом – в другой двор, а то и на другую улицу.

С утра седьмого марта он зарядил аппарат и сразу же, как мать ушла на работу, вышел на улицу. Утром все было забито людьми еще гуще, чем накануне. Выход с Маросейки на площадь был перекрыт теперь не только троллейбусами, а еще и вторым рядом грузовиков. К Колонному залу можно было подойти со стороны Пушкинской площади, но не по улице Горького, а по Пушкинской улице. Позже толпу пустили по Неглинке.

Все три близлежащих бульвара были заполнены спрессованными толпами людей, но в середине дня вдруг стало свободнее – сжатая со всех сторон толпа двинулась и побежала. Открыли какие-то боковые, переулочные проходы, и люди туда устремились. Никто так никогда и не выяснил, кто регулировал эти ловушки, устраивал засады и рукава, куда сбивались люди, но в конце концов они как-то просачивались через проходные дворы, сквозные подъезды, вливались и выливались, как вода, проникающая во все дырки.

Мощные «студебеккеры» перегораживали улицы, было множество военных и милиции, и Илья, прижимая фотоаппарат к животу, шнырял между машинами, подлез под одну из них и, вынырнув, столкнулся с Борей Рахмановым, восьмиклассником. Боря был настроен прорываться в Колонный зал. Илью во всей этой неразберихе интересовала больше всего сама неразбериха.

В центре во время демонстраций Первого мая и Седьмого ноября всегда происходило нечто подобное – колонны, кордоны, заслоны. Мальчишки, жившие в центре, давно уже знали эту праздничную суматоху и никогда не упускали случая в ней потолкаться. Но на этот раз происходило нечто поистине грандиозное. Илью страшно тянуло подняться повыше над толпой, чтобы сделать хоть один снимок сверху. Он позвал Борю с собой на знакомую крышу, но тот отказался.

«Дурак, – подумал Илья. – Я по крышам к Колонному залу раньше него доберусь».

Он решил пробиваться через Крапивенский переулок. Но в этот момент толпа шатнулась, его понесло куда-то в сторону Неглинки, а Борю унесло в другом направлении. Он мелькнул в последний раз, Илья увидел его красное лицо с открытым ртом. Он что-то кричал, но слышно не было. Стоял странный гул – в нем был и вой, и крики, и что-то похожее на пение, и впервые за два дня Илье стало не по себе.

Надо было добраться до знакомой арки, там во дворе был сарай, с крыши которого можно было легко перелезть на крышу соседнего дома, четырехэтажного. Илья сделал рывок в сторону арки и понял, что люди стараются держаться подальше от домов, внутри потока, боясь быть прижатыми к троллейбусам, стоящим один за другим вплотную. Люди бились о борта, и несколько человек, примятых и неподвижных, лежали, прижатые к троллейбусному брюху, а другие наступали на них ногами. Илье, чтобы попасть на тротуар, надо было протиснуться между телами – неужели они мертвые? Быть не может... Другого пути не было. Он понимал, что надо сразу же оказаться под защитой троллейбусного брюха, иначе его размажут по

стенке. Все время он помнил о «Феде», как ласково звал фотоаппарат, – не раздавить объектив. Ногами он вытоптал себе крохотное пространство возле колеса и шмыгнул туда. Там, под троллейбусом, была тьма и жуткая теснота – лежали мягко переплетенные тела в толстой одежде, и он полз между ними, продвигаясь во влажном смраде. Кто-то стонал. Выполз он из-под троллейбуса прямо в руки толстого военного с трясущимся мокрым лицом. Мальчишка лет пяти, белый и бесчувственный, мертво висел на нем.

– Ты куда?

– Я в том доме живу.

– Дуй домой и носа не показывай.

Военный подтолкнул его к арке, и Илья шмыгнул во двор. Сарай был на месте, и дощатый мусорный ящик рядом придвинут к стене. Илья залез на ящик, с него на крышу сарая, а там – он был здесь в позапрошлом году, летом, когда играл последний раз в «казаки-разбойники», – торчали удобные выступы, по которым легко можно было забраться на крышу «пестрого дома», из красного и белого кирпича, если только окно в подъезде на третьем этаже по-прежнему выбито.

Илье удивительно везло в тот день – он выскочил живым из смертоносной толпы, и теперь опять удача – окно было выбито.

Он пережил еще один страшный момент, когда хотел подтянуться на раме, а она вдруг шатнулась, как будто собираясь вывалиться на улицу. Но не вывалилась, и он благополучно спрыгнул с широкого подоконника внутрь. Далее его подстерегала неожиданность: чердак был заперт на новый стальной замок с такими здоровенными ушками, что отодрать их без инструмента было невозможно. Но дом был странной постройки, и окна в парадном выходили на две стороны – на третьем этаже во двор, а на втором и четвертом – на улицу. Илья поднялся на четвертый и увидел улицу. Она была как черная река, головы сверху казались завитками меха и шевелились, как шкура какого-то жуткого животного. Илья вытащил фотоаппарат, понимая, что с такого расстояния хорошо не получится, но подумал, что потом повторит снимок со второго этажа. На втором ему удалось открыть окно, снизу ворвался не крик, а какой-то равномерный вой, который прорывался то визгом, то воплем. Отсюда толпа уже не была похожа на мех. Головы, как темные камни, плотно прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались. Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте.

Сделал несколько снимков, но решил, что с четвертого будет все-таки выразительней. Он уже забыл страх, пережитый несколько минут тому назад.

Тут выскочила из квартиры пьяная тетка в красном халате и заорала:

– Ты чего там делаешь? Делать тебе нечего?

И добавила к этому сложную матерную фразу, которая поставила Илью в тупик.

Он был умен, не стал ей отвечать, показал рукой на рот, помахал около ушей, мол, глухонемой, и тетка, плюнув натурально, исчезла.

На четвертом этаже Илья почти добил пленку и стал подумывать о том, как бы ему теперь поскорее добраться до дома. Он прекрасно видел, что пройти обычной дорогой от Трубной площади вверх по Рождественскому бульвару, пересечь Сретенку и выйти к Чистопрудному бульвару невозможно. Но ему казалось, что если пробиться через площадь и перейти на ту сторону, то там двигаться будет легче. Он не знал, что толпа с Рождественского шла вниз и, сталкиваясь на Трубной площади со встречной, текущей со стороны Петровского бульвара, образовывала здесь смертельный водоворот.

Но сидеть в подъезде до скончания века он не собирался, к тому же дома мать наверняка волнуется и плачет. Он посидел еще немного на подоконнике, размышляя, приберечь ли остаток пленки или прямо сейчас сделать несколько последних кадров, потому что свет уходил. Потом сидеть наскучило, и он решил отсюда выбираться как угодно.

Выйти из двора было еще труднее, чем в него проникнуть. Но он рассчитал все правильно: позвонил в квартиру на первом этаже и умолил старика-хозяина выпустить его через другую дверь на улицу. Старик покачал головой и косноязычно промычал, что парадная дверь закрыта, но выйти можно через котельную.

«Вот, этому старику и притворяться не надо, без малого глухонемой», – усмехнулся Илья, который умел радоваться всяким совпадениям. Двор был совершенно пуст, ни души, а из-за стены раздавался глухой и мощный гул спрессованной толпы. Илья сразу же увидел котельную, она была заперта. Походил вокруг, залез на крышу котельной, с нее перебрался на стену и спрыгнул на пустой тротуар, отсеченный от толпы оцеплением. Теперь надо было прошмыгнуть мимо военного заслона, чтобы влиться в толпу. Он перебежал чуть поближе к перекрестку и прошмыгнул мимо двух военных на забитую людьми мостовую. И сразу же понял, что совершил ошибку, лучше бы сидел в парадном. Его сразу же поволокло со страшной силой, как бывает в море при большой отливной волне. Впереди маячил светофор.

И вот тут Илье впервые стало по-настоящему страшно: он испугался уже не за «Федю», который при ударе о столб светофора мог разбиться вдребезги. Он подумал о том, что может произойти с его головой. Руки, оберегающие фотоаппарат от удара, он не мог даже сдвинуть. Фотоаппарат вдавился ему в живот, но он чувствовал не боль, а ужасную тоску. Его несло на светофор, он оставался как будто чуть слева. Человек с разбитым лицом был прижат к светофору. Он, мертвый, стоял. Не мог упасть.

В этот миг земля под ногами дрогнула и разверзлась. Илья влетел в канализационный люк, крышка которого сдвинулась под ногами толпы. Упал Илья хорошо, на забытый водопроводчиками моток пакли. Слева была решетка, немного приподнятая с одного бока. Илья рванул, и она открылась полностью. Он ткнулся в эту нору и почему-то задвинул за собой решетку. Это инстинктивное движение спасло ему жизнь. Падавшие вслед за ним люди за несколько минут наполнили люк до отказа, и он, самый нижний, неминуемо был бы раздавлен. Тела падавших спрессовались так, что тысячи людей, шедшие по ним, не чувствовали, что ступают по человеческому мясу. Из-за решетки доносились вопли.

Наверху тем временем страшная невидимая волна вдруг понесла всех, расшибая о стены, ограждения, о борта грузовиков и вереницу троллейбусов. Это открыли проход, ведущий в глубину замкнутого квартала, но людям казалось, что наконец-то можно выбраться куда-то, где кончится это ломающее кости сжатие. Но этого Илья уже не видел. Он вообще ничего не видел. Была полная тьма.

В этой темной норе Илья пролежал довольно долго, а потом стал ощупывать стены. Он обнаружил большую трубу, которая вела немного вниз. Пополз по ней. Полз-полз, потом труба сделала небольшой поворот, и теперь он двинулся как будто немного вверх. Фотоаппарат был завернут в шапку и всунут под ремень брюк. Потом Илья заснул ненадолго, а проснувшись от лютого холода, не сразу сообразил, как в этой дыре оказался. Поднял голову и увидел, что метрах в двух над ним довольно большая прямоугольная решетка. Нельзя сказать, чтобы сверху шел свет – там тьма была не такой густой. Очень хотелось пить. Пахло противно, но не канализацией, а ржавым железом и крысами. Хотя никаких крыс он так и не увидел. Наверное, они тоже плотно сбитой стаей неслись в сторону Колонного зала.

Надо отсюда выбираться. В сводах стен, ведущих к решетке, были вбиты толстые скобы, он полез вверх. Долез до верха легко, но решетка оказалась намертво приваренной к раме, вылезти не было никакой возможности. Он спустился вниз, свернулся комочком и снова заснул. Когда проснулся, свету сверху стало больше. Он двинулся дальше по трубе – по ходу она расширялась.

Следующая решетка обнаружилась метров через пятьдесят. Он сразу же нашел скобы и поднялся по ним. Решетка приварена не была, была закреплена довольно свободно, но с наружной стороны заперта. Илья пополз дальше. Решетки возникали регулярно, метрах в пятиде-

сяти одна от другой. Он миновал их восемь, обследовал каждую, почти все были заварены, и только две заперты с наружной стороны. Потом он сбился со счета. Несколько раз засыпал в изнеможении, просыпался и снова полз. Три или четыре решетки подряд выходили в ноги толпы, света там не было, но шел страшный гул, по которому он догадывался, что здесь не надо и пытаться вылезать. Одна решетка была наполовину выбита, и оттуда свисала половина мертвого человека.

Он понятия не имел о направлении, но точно знал, что трубы – единственный возможный путь, и продвигаться надо вперед, хотя не понимал, куда они его выведут.

Сколько прошло времени, не понимал. Потом увидел решетку, через которую шел ясный желтый свет. Поднялся по шатким скобкам, тронул ее, и она легко открылась. Он вылез и обнаружил, что стоит под фонарем во дворе дома, где живет Саня Стеклов. Сил хватило добраться до Саниных дверей и позвонить.

Анна Александровна открыла дверь.

Илья сразу же упал. Руки он прижимал к животу, где под брючным ремнем сохранялся спасенный им «Федя».

Было одиннадцать вечера седьмого марта. Анна Александровна сделала, что могла: раздела Илью, отнесла с помощью соседа в ванну и дождалась, пока он откроет глаза. Потом вымыла большой лохматой мочалкой, осторожно обходя ссадины. Синяки покрывали тело, живот был сплошной синяк. Она подивилась еще и тому, что тощенький этот мальчик с совершенно детской мордой так хорошо снаряжен для мужской жизни. Из ванной он вышел сам, дошел до кушетки и рухнул. На него надели женскую ночную рубашку, накрыли пледом, дали крепкого сладкого чаю, а потом, подсунув под спину большую подушку, усадили и накормили супом. Он заснул.

Стекловы молча сели у стола.

– Нюта, я думаю, что сегодня много людей погибло, – шепотом сказал Саня бабушке.

– Наверное...

Потом Саня сидел рядом со спящим Ильей, ожидая, что тот проснется и расскажет ему, что там происходило. Чувство его к другу было сильным и сложным: он им гордился, немного завидовал, что сам не таков, как Илья, но быть таким, кажется, вовсе не хотел. Еще он понимал, что Илья мужчина – и об этом свидетельствовала не только темная поросль под носом, но и волосяная дорожка вниз по животу, ведущая к взрослому большому члену, который сделан был не для одного писания. Обнаженного мужчину он до сегодняшнего дня не видел: в общественных бани его не водили.

Обнаженных женщин он тоже не видел: с чего бы вдруг стали обнажаться перед мальчиком две интеллигентные женщины, мать и бабушка? Но про женское Саня догадывался, оно было ожидаемым – грудь под платьем, темное гнездо волос внизу живота. Обнаженный мужчина, его друг и одноклассник Илья, его поразило гораздо сильнее – Саня остро ощутил, что он не такой и никогда таким не будет. Обнаженные нарисованные женщины – Саня много их перевидал в музеях и в альбомах – не вызывали почему-то такого волнения и смущения, как нагота мужчины – он чуть сознание не потерял от этой грубости и силы.

«Войну и мир» он почти дочитал, женские тени нисколько его не тронули – ни Наташа с глупой восторженностью, ни княгиня Лиза с короткой губой, ни княжна Марья, заранее объявленная некрасивой, но мужчины... они были прекрасны – с их силой, щедростью, умом, благородством и чувством чести. Теперь, разглядывая лицо Ильи, он думал, на кого же из этих прекрасных мужчин похож Илья. Нет, не на сухого благородного Болконского, не на толстого умного Безухова и не на чудесного, любимого Петю Ростова, не на Николая, конечно же... Скорее на Долохова.

Марья Федоровна, мать Ильи, вторые сутки сидела на стуле возле входной двери. Телефона у них тогда еще не было, и Анна Александровна не могла ей сообщить, что ее сын жив. На улицу выходить было страшно. Да в любом случае перейти через трамвайные пути на перекрестке Чистопрудного бульвара и Маросейки было невозможно из-за военно-милицейского заслона.

Над городом стоял ужас – древний, знакомый лишь из греческой мифологии, он покрывал город, заливал его черной водой, тот ужас, который приходил лишь во сне, в детских кошмарах, поднимавшихся со дна души. Какая-то подземная прорва излилась наружу, угрожая любой человеческой жизни.

В оцепенении сидели и родители Бори Рахманова. Дозвониться в милицию, в больницы, в морги они не смогли. Все телефоны были заняты.

Борю они найдут только через четыре дня среди тел, лежащих на снегу возле переполненного Лефортовского морга. Опознают его по бельевой метке на рубашке – белые рубашки Галина Борисовна Рахманова не стирала сама, сдавала в прачечную. На руке погибшего сына был еще один номер, написанный фиолетовой краской, – 1421.

Хоронили этих задавленных людей тихо, скрытно. Никто их не пересчитал, и только номер на руке Бори свидетельствовал, что их было не менее полутора тысяч.

Венка от школы на могилу Бори Рахманова никто не возлагал. Да никаких цветов в те дни не было – все ушли на вождя. В эти страшные дни умер еще один человек, частной и домашней смертью, – композитор Сергей Прокофьев. Но до этого вообще никому не было дела.

Из всех снимков Ильи получилось только два. Освещенность, как и предполагал Илья, была недостаточной. Но других фотографий, кроме тех официальных, гробовых, из Колонного зала, что были опубликованы во всех газетах, не существовало.

«Люрсы»

По средам Виктор Юльевич таскал любителей русской словесности, «люрсов», как они себя называли, по Москве и выводил их, дуя в свою флейточку, из бедного и больного времени в пространство, где работала мысль, где жила свобода, и музыка, и всякие искусства. Вот, здесь все это обитало! За этими окнами!

Блуждания по литературной Москве носили изумительно хаотичный характер. В бывшем Гендриковом переулке заходили во двор дома, где, как ошибочно полагали, застрелился Маяковский, спускались по улице Дзержинского, бывшей Лубянке, к Сретенским воротам. Переименование московских улиц оскорбляло слух Виктора Юльевича, и он постоянно называл ребятам их старые имена.

По бульварам они доходили до площади Пушкина, где учитель показывал дом Фамусова, бродили по пушкинским адресам – дом Вяземского, дом Нащокина, дом, где помещались танцклассы Иогеля. Здесь Александр Сергеевич впервые увидел юную Натали.

– Тверской самый старый из всех бульваров. Были времена, когда его называли просто Бульвар. Он был единственный. Говорят, Бульварное кольцо, но никакого кольца на самом деле нет и не было – полукольцо. Упирается в реку. Все бульвары построены на месте каменной стены Белого города.

От площади Пушкина выбирали какой-нибудь нехоженный прежде маршрут. То шли через Богословский переулок к Трехпрудному, к дому, где жила когда-то Марина Цветаева, то через Тверской и Никитский бульвары выбирались к Арбату, пересекали Малую Молчановку возле домика Лермонтова, через Собачью площадку выходили к последней квартире Скрябина. Он здесь играл, и еще живы люди, сидевшие на его домашних концертах. Задавали вопросы. Имена застревают в памяти. Крутились по городу без всякого заранее продуманного плана, и ничего лучше этих блужданий нельзя было и вообразить.

Виктор Юльевич в связи с этими экскурсиями проводил много времени в библиотеках, ковыряясь в старых книгах и отыскивая редкости. В Историчке ему открылись залежи рукописных мемуаров, альбомов, писем. Некоторые материалы, судя по формулярам, не запрашивались вообще никогда. Он узнавал много ценного и неожиданного. Поражало, что многие, да все почти существующие разрозненно люди девятнадцатого века состояли между собой в родстве, несколько семейных кланов густо переплетались, их мир представлялся невероятно разветвленной семьей. В опубликованных до революции письмах постоянно присутствовали свидетельства этой удивительной взаимопроницаемости, и все эти связи, вместе с семейными ссорами, скандалами и мезальянсами, преображались в романах Толстого в нечто более важное, чем семейная хроника. «Русская Библия», – приходило в голову Виктору Юльевичу.

Он, как Гулливер в стране лилипутов, каждым своим волосом был привязан к почве русской культуры, и связи эти от него протягивались к его мальчикам, которые входили во вкус, привыкали к этой пыльной, бумажной, эфемерной пище.

С компанией мальчишек он проходил по улице Горького, мимо лучшего в столице продовольственного магазина, «Елисеевского», рассказывал своим «люрсам» о Зинаиде Александровне Волконской, которая была владелицей этого дома-дворца до его перестройки.

– Здесь был известный на всю Москву литературный салон, и весь московский свет сюда съезжался. Приглашали писателей, художников, музыкантов, профессоров. И Пушкин здесь бывал. Я недавно нашел в библиотеке один интересный документ – донесение полковника Бибикова от 1826 года, в котором черным по белому было написано: «Я слежу за сочинителем П. насколько возможно. Дома, которые наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются по большей части на литературе». Понимаете, что это значит?

– Да чего ж тут не понять? Слежка за ним была, – первым отреагировал Илья.

– Именно. Потому что во все времена бывают люди, которым интереснее всего «вращаться на литературе». Вроде нас с вами! – засмеялся учитель. – И есть полковники Бибиковы, кому поручено за ними присматривать. Да, такие времена...

Как будто ничего особенного не говорил, но все время – по краю. Он давно уже знал, что прошлое не лучше настоящего. Да и о чем говорить? Из всякого времени надо вырываться, выскакивать, не давать ему поглотить себя.

– Литература – единственное, что помогает человеку выживать, примиряться со временем, – назидал Виктор Юльевич своих воспитанников.

Все охотно соглашались.

Только Саня немного сомневался: а музыка?

Вслушиваясь в Моцарта, в Шопена, он догадывался, что, помимо литературы, есть еще и совсем иное измерение, куда сопровождали его то бабушка, то Лиза, то домашняя учительница Евгения Даниловна. Туда он совершал ежедневный побег из школьного времени, пока рука была цела. Но и теперь, со скрюченными пальцами, он все равно не расставался с музыкой – слушал постоянно, понемногу брэнчал. Какая игра без двух пальцев? Иллюзий не было.

Для Миши эти литературные путешествия были одновременно побегом от удручающей тети Гени с ее мелочным существованием и полетом в поднебесные выси, где обитали благородные мужчины и прекрасные дамы.

Илья тоже не пропускал ни одной прогулки по Москве. У него была самостоятельная задача – он документировал все происходящее и составлял отчеты с фотографиями. Отчеты эти хранились частично дома у Виктора Юльевича, частично у Ильи в чулане.

Пройдет полтора десятилетия, прежде чем выродившийся потомок полковника Бибикова, полковник Чибилов (бессмертный Гоголь ухмыляется всякий раз, когда выскакивают подобные переключки имен), доберется до этого детского архива, и еще пятьдесят лет до того года, когда институт изучения Центральной и Восточной Европы в маленьком немецком городе со сказочным названием регистрирует этот архив за семизначным номером с косой чертой посередине, а примет этот архив на ответственное хранение один из «люрсов», тоже ученик Виктора Юльевича, но выпущенный годом позже.

Столкнувшись после деревенской школы с этими московскими мальчиками, Виктор Юльевич снова вернулся к размышлениям о детстве. Не хватало знаний. Он принялся за чтение научных книг.

Добывал полузапрещенные книги по психологии детства, от Фрейда, который стоял забытый на полках больших библиотек, до Выготского, изъятого и помещенного в спецхран. Почти все его опубликованные работы он нашел у бывшей своей сокурсницы, бабушка которой в период гонений на «педологию» была уволена, научилась вязать кофточки и тем перебивалась, но хранила все публикации Выготского как драгоценности и давала читать только избранным, да и то не «на вынос». Виктор Юльевич приходил в воскресенье утром и сидел до вечера, прерываясь несколько раз на московские чаепития.

Все это было очень интересно, но с излишком «научности»: вещи само собой разумеющиеся, вроде известного факта, что в подростковом возрасте мальчики перестают уважать родителей, становятся раздражительны, ссорятся, испытывают острое сексуальное любопытство и что все это вытекает из гормональной бури, которая происходит в организме, представлялись как открытия, а авторские объяснения и интерпретация порой представлялись Виктору Юльевичу спекулятивными и недоказательными.

Того, что искал, он не находил. Очень важные слова он выловил у Толстого, который назвал этот мучительный период «пустыней отрочества». Это было ближе всего к тому, что он наблюдал в своих развинченных, взъерошенных воспитанниках. Был момент, когда они,

казалось, теряли все, что накопили прежде, и жизнь как бы начиналась заново. И, похоже, не все выбирались из этой пустыни, а значительная часть оставалась в ней навсегда.

Почти единственным собеседником Виктора Юльевича был Миша Колесник, дворовый приятель детства, инвалид войны, биолог, дерзкий домодельный философ. Он слушал внимательно, но не выносил медлительности, поэтому перебивал, бурчал «дальше, дальше, уже понял», торопил друга, вставлял странные, не сразу понятные замечания – постоянные проекции на биологию. Виктор Юльевич постепенно привыкал к непривычному ходу мысли собеседника, проникался идеями универсализма знания, к которым подводил его хромой Колесник. Именно от него насквозь гуманитарный литератор узнал о принципах эволюции, о противоречиях ламаркизма и дарвинизма и даже о таких технических и частных явлениях, как метаморфоз, неотения, хромосомная наследственность.

Теперь он размышлял о своих подрастающих ребятах и догадывался, как близки происходящие в них процессы с тем метаморфозом, который происходит с насекомыми.

Несмышленные малыши, человеческие личинки, они потребляют всякую пищу, какую ни кинь, сосут, жуют, глотают все подряд впечатления, а потом окукливаются, и внутри куколки все складывается в нужном порядке, выстраивается необходимым образом – рефлексy отрабатаны, навыки воспитаны, первичные представления о мире усвоены. Но сколько куколок погибает, не достигнув последней своей фазы, так и не треснув по шву, не выпустив из себя бабочку. Анима, анима, душенька... Цветная, летающая, короткоживущая – и прекрасная. А какое множество так и остается личинками и живет до самой смерти, не догадываясь, что взрослость так и не пришла.

Там, у Выготского, речь шла о различии между процессом формирования навыков и процессом развертывания интересов. А Виктору Юльевичу виделась иная картина – он наблюдал у своих воспитанников развертывание крыльев, и на них отпечатывались смыслы и узоры. Но почему одни, как насекомые с полным циклом развития, претерпевают метаморфоз, а другие – вовсе нет?

Виктор Юльевич просто физически чувал эти минуты, когда роговые покровы куколки лопались, он слышал трепет и шорох крыл и наполнялся счастьем, как акушерка, принявшая ребенка.

Но почему-то метаморфоз этот происходил далеко не со всеми, скорее с меньшинством его воспитанников. В чем суть этого процесса? Пробуждение нравственного чувства? Да, конечно. Но почему-то с одними это происходит, а с другими нет. Есть какой-то загадочный модуль перехода: обряд, ритуал? А может, вид *Homo sapiens*, человек разумный, тоже переживает явление, сходное с неотенией, наблюдающейся у червей, насекомых, у земноводных, – когда способность к половому размножению появляется не у взрослых особей, а уже на личиночной стадии, и тогда не доросшие до взрослого состояния существа плодят себе подобных личинок, так никогда и не превратясь во взрослых?

– Ну, разумеется, это только метафора. Я понимаю, что физиологически мои недоростки вполне взрослые существа. Имаго, так сказать, – оправдывался он перед Колесником, но тот все быстро схватывал и не нуждался в истолкованиях.

Колесник поднимал круглые густые брови и, нажимая на «р», говорил с притворным удивлением:

– Ну, брат литератор, ты сильно поумнел за истекшую пятилетку! А можешь ли ты в этой ситуации дать определение имаго, то есть «взрослой» особи? Каковы критерии «взрослости»?

Виктор Юльевич задумывался:

– Не только способность к размножению. Ответственность за свои поступки, может быть? Самостоятельность? Степень осознанности?

– Качественные критерии, а не количественные! – тыкал пальцем Колесник. – Смотри, что получается у тебя: инициация – какая-то неопределенная вещь, и ответственность – как

ее измерять? И что же, по-твоему, личинка человека превращается в имаго, пройдя процесс инициации?

Виктор Юльевич напирал:

– Ты же признаешь, Мишка, что мы живем в обществе личинок, невыросших людей, подростков, закамуфлированных под взрослых?

– В этом что-то есть. Я подумаю, – обещал Колесник, – вопрос ты ставишь чисто антропологический, а современная антропология сейчас в большом застое, вот в чем дело. Но какой-то элемент неотении действительно просматривается.

Виктор Юльевич перечитал прорву книг. Он все искал, не практиковался ли где-то и когда-то необходимый ему ритуал перехода от детства во взрослую жизнь.

Всяких переходов такого рода описано было множество – связанных и с половым созреванием, и с переменой социального статуса, и с вступлением в избранное сообщество воинов, колдунов или шаманов, но он все искал такого, когда от дикости и хамства юноша одномоментно входил в культурное состояние, в нравственную взрослую жизнь. Конечно, можно было бы считать таким обрядом выпуск из европейских университетов образованных господ, облаченных в мантии и дурацкие шапочки. Но не они ли, образованные врачи, психологи и инженеры, потом налаживали наиболее рациональную систему истребления и утилизации людей в Третьем рейхе? Объем переваренных знаний не обеспечивал нравственной зрелости. Нет, это тоже не подходило.

Чтение, хотя и не давало прямых ответов на вопросы, не было бесплодным: теперь он угадывал древние обряды и ритуалы, искаженные до неузнаваемости, выхолощенные и доведенные до абсурда, в правилах и привычках современной советской жизни, и даже прием в пионеры, сопровождающийся клятвой и переменой одежды, представлялся пародией на какое-то древнее таинство. Правда, это были не новые белые одежды древних христиан, не фартуки масонов, а всего лишь тупоугольник красной тряпки, повязанный на шею. Но близко, близко...

Гору книг прочитав, он вернулся к русской классике – источнику, которому доверял безоговорочно. Он заново перечитал «Детство. Отрочество. Юность» Толстого, «Былое и думы» Герцена, «Детские годы Багрова-внука» Аксакова. К этому прибавились и «Записки революционера» Кропоткина, и трилогия Максима Горького, уже за пределами Золотого века: как мучительно детская душа принимает полный несправедливости и жестокости мир, как пробуждается к сочувствию, к состраданию.

Он проводил своих мальчиков путем Николеньки Иртеньева, Пети Кропоткина, Саши Герцена, даже Алеши Пешкова – через сиротство, обиды, жестокость и одиночество к восприятию вещей, которые сам считал основополагающими, – к осознанию добра и зла, к пониманию любви как высшей ценности.

Они отзывались на его призыв, научились сами находить эти важнейшие эпизоды – гаринские страницы о Теме, спускающемся, как в преисподнюю, в темноту склизкого колодца за упавшей туда собакой, о побежденном страхе, о кошке, убитой дворником на глазах юного Алеши Пешкова, и – дальше, дальше! – о казни декабристов, переживаемой Сашенькой Герценом. Происходило какое-то изменение в их сознании. Или нет?

Сам Виктор Юльевич, вынужденный оставаться в рамках школьной программы, искал постоянно то, что называл «стратегией пробуждения».

Давал все, что имел сам. В сущности, простые вещи – честь, справедливость, презрение к подлости и алчности... И подводил в конце концов к тому, что считал абсолютной вершиной русской классической литературы, – открывал дверь в комнату, где пятнадцатилетний недоросль, соблазненный шириной и добротой бумаги, из которой сделана была географическая карта, прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды, мосье Бопре спал пьяным сном, и батюшка выволакивал вон нерадивого “outchitel”, к радости крепостного дядьки Савельича.

И Петруша Гринев, преодолевая жестокие испытания, сберегал честь и достоинство, которые становились дороже жизни.

Но все-таки была одна странность в этой прекрасной литературе: вся она была написана мужчинами о мальчиках. Для мальчиков. Все о чести, о мужестве, о долге. Как будто все русское детство – мужское... А где же детство девочек? Какая у них ничтожная роль! Наташа Ростова восхитительно пляшет и поет, Кити катается на коньках, Маша Миронова отбивается от посягательств негодяя. Все юные кузины и их подруги, в которых влюблены мальчики, славны своими локонами и оборками. Остальные – несчастные жертвы: от Анны Карениной и Катюши Масловой до Сонечки Мармеладовой. Интересно, интересно. Как обстоит дело с девочками? Они всего лишь объект мужского интереса? А где их детство? Претерпевают ли они тот внутренний переворот, который случается с мальчиками? Неужели только акт физиологии? Биологии?

В сентябре пятьдесят четвертого года произошло грандиозное событие – ввели совместное обучение. На фотографиях Илюшиного архива появились девочки.

Все сошли с ума, в первую очередь опытные учительницы, привыкшие к своим мальчикам и видевшие в присутствии девочек большую нравственную опасность.

Девочки всех безумно волновали. И не столько эти определенные девочки, сколько привлекательная и страшноватая стихия, которая за ними стояла. Мальчики «Трианона» в разговорах этого почти не касались, вероятно, из-за Сани, который не выносил «неприличия», куда относил множество разнообразнейших вещей: физическую нечистоплотность, грязную речь, ложь, любопытство. Илья, который в другой компании мог бы себе позволить и сквернословие, и грубую шутку, в присутствии Сани подтягивался. О девочках разговаривать было между ними не принято именно потому, что этот разговор с какой-то нечистой окраской постоянно велся одноклассниками. Но облако умолчания над этими тремя присутствовало, раннее предчувствие неизвестного еще правила: уважающие себя мужчины не обсуждают женщин.

Всякая школьная мелочь – первоклассники, второклашки – никакого стресса не испытала, зато восьмиклассники просто взбесились. Девочка сама по себе выводила из равновесия. Девочка была неприлична по своей сути. На них, девочках, были чулки, подцепленные резинками, подола их форменных платьев иногда задирались, и там мелькало голое, розовое и голубое. Даже у самой плохонькой под черным фартуком были скрыты заметные груди. Не то чтобы мальчишки раньше этого не знали. Знали, конечно, но теперь все это было в такой невыносимой близости. А уроки физкультуры! У них была женская раздевалка, в которой они раздевались. Может быть, догола.

Возбуждение висело в воздухе, как пыль во время ремонта. Ото всех било током, всех колотила любовная лихорадка.

Мальчики преобразились и внешне: теперь они носили форму, похожую на гимназическую, кителя и гимнастерки голубинового цвета. Всем покупали на вырост, хорошо сидела форма только на Сане Стеклове, которому бабушка купила точно в размер. Ему, хоть и подросток за лето, не суждено было догнать Илью или Мihu. Однако, как ни странно, именно мелкий Саня пользовался успехом у девиц. Записки летали по классу, как опасные, но медоносные пчелы, только что не жужжали.

К Новому году определились симпатии и антипатии и даже сложились первые любовные союзы. Те, кто не достиг успеха в завоевании особ иного пола, возлагали большие надежды на новогодний вечер.

В середине декабря все планы разрушились. В школе появилась корь. Началась с младших классов, потом перекинулась на более старшие, и к концу декабря был объявлен строгий карантин. Запрещали даже спускаться с этажа на этаж и пользоваться общей столовой. Больше трети учащихся восьмого «А» охвачены были корью. Саня все ждал, когда заболеет, по утрам рассматривал лицо в зеркале, но красноватой сыпи не наблюдалось.

Из классов выпускали только в уборную. На большой перемене медсестра и буфетчица приносили пирожки, винегрет и сладкий чай в чайнике прямо в класс. Сначала это было интересно, но быстро надоело. Самое же неприятное во всей этой эпидемической истории была отмена новогоднего вечера. Вторая четверть закончилась скучно, разошлись на зимние каникулы. Тридцать первого декабря Саня все-таки заболел, чем лишил своих друзей еще одного, самого любимого праздника – своего дня рождения.

Скучные каникулы скрасил Виктор Юльевич. Обычно в каникулы он отменял встречи «люрсов», но в тот год они встречались чуть ли не через день. Во всяком случае, у Ильи сохранилось много фотографий именно от этих дней. Это были многолюдные походы, собирались все, кого не сразила зараза. Гуляли часа по три, а потом еще заходили к Виктору Юльевичу домой, пить чай. На тех фотографиях впервые появились подруги Катя Зуева и Аня Филимонова, первые девочки, присоединившиеся к их мужскому до этого времени кружку.

У Кати еще не остриженные косы с черными бантиками на концах свешиваются на воротник пальто, а Филимонова в лыжной шапочке, мыском на лоб, похожа на мальчика, с прыщами на лбу. Их-то она шапочкой и прикрывает, догадался Илья. Он же первый и заметил, что Катя влюблена в учителя.

В школу она ходила, собрав косы в некрасивую «корзинку», а приходя на заседание «люрсов» – так называли они те встречи, которые проходили не на улице, а на квартире у Юлича, – выпускала всю гриву на волю и удивительно хорошела. Она сидела за круглым столом, всегда на одном и том же месте, положив на подогнутую ладонь подбородок, и лицо ее было почти закрыто волосами, и Миха все пытался пригнуться пониже, чтобы заглянуть в ее упрятанное лицо. Она ему очень нравилась, особенно вне школы. Кроме того, ему еще нравились маленькая Роза Галеева из седьмого класса и Зоя Крым из параллельного.

Всякий раз, когда Юлич обращался к Кате, она смешно краснела всем лицом так сильно, что белым оставался один нос. Катя была замкнута и молчалива, даже с Аней, близкой подругой, не поделилась своей великой тайной: была беспamięтно влюблена в учителя, с первого взгляда, с первого сентября, когда увидела его в школьном дворе перед торжественным построением, окруженного мальчишками, оживленного, смеющегося.

Она по-школьному бегала за ним, издали провожала до дома. Иногда подходила к его подъезду вечером, но ни разу не встретила на улице. Решилась ходить в его кружок, но пошла, только подбив Аню, которую вообще-то больше интересовал волейбол.

Ближе к весне произошло событие, о котором Катя рассказала своему мужу два года спустя. Кате достали билет в Большой театр на балет Прокофьева «Война и мир». Вся Москва стремилась на этот спектакль, и Катина бабушка отдала ей единственный билет, добытый благодаря ее обширным связям. После первого акта Катя из познавательного интереса заглянула в театральный буфет. Там была толчея, теснота и шум, к буфету стояла длинная очередь. За ближайшим у двери столиком сидел Виктор Юльевич. Рядом с ним красивая женщина восточного облика. На столике лежал букет цветов. Они разговаривали, а потом он положил левую руку на ее плечо, и Катю по-настоящему затошнило. Она ушла домой, не досмотрев спектакля. Бабушке сказала, что страшно заболела голова.

Через неделю она подстерегла Виктора Юльевича в его подъезде и сказала, что любит его. Было очень страшно, что он ее засмеет. Но он не засмеял. Положил ей руку на плечо, как той восточной женщине, и сказал очень серьезно, что уже догадался, но не знает, что с этим делать.

– Ничего. Я просто умираю, когда думаю о той женщине, с которой вы были в театре. Вы на ней женитесь?

– Нет, Катя. Я на ней не женюсь. Она уже замужем, – ответил он совершенно серьезно.

– Тогда вы на мне женитесь! – И убежала.

– Когда вы школу закончите! – крикнул ей вслед Виктор Юльевич.

Хлопнула дверь подъезда. Он улыбнулся, покачал головой и, вытащив железный портсигар, ловко вытянул из него папиросу. Он многое умел делать одной рукой – чиркнул зажигалкой, закурил. Стоял, курил и улыбался. Он, потеряв руку, тогда же и принял решение, что никогда не женится, не поставит себя в унижительную зависимость от женщины, и вот уже больше десяти лет удачно увиливал от брака и сбегал – трусливо, решительно, иногда жестко, иногда мягко – в тот момент, когда начинала маячить семейная перспектива.

Но сейчас он улыбался: девочка была очаровательная, страстно и одновременно по-детски в него влюблена, и никакой опасности от нее не исходило. Ему и в голову не могло прийти тогда, что действительно женится на ней, как только она закончит школу.

Весь следующий год девятиклассники были погружены в девятнадцатый век. Издали он казался очень привлекательным. Обычные разговоры, точно в салоне Зинаиды Волконской, «вращались на литературе». И «на истории». Как в донесении полковника Бибикова.

Декабристы – сердце русской истории, лучшая ее легенда – страшно всех увлекали. Илья даже собрал собственную портретную галерею декабристов (еще одна зачаточная, впоследствии брошенная на произвол судьбы коллекция), переснимал их портреты из книг и здорово наловчился в ремесле репродукции. В какой-то момент Саня, разглядывая самодельный Илюшин альбом, ткнул пальцем в одного усатого и довольно лохматого и запросто, как вещь незначительную и обыкновенную, сказал:

– Какой-то там прабабки брат был этот Лунин. Бабушка говорит, что он был без страха и упрека. Двое декабристов было у нас в родне. А второй... деда моего Стеклова какой-то прапра... сами порасспросите Нюту. Она расскажет. У нее даже какие-то письма хранятся.

Миха с Ильей остолбенели: как? И немедленно понеслись к Анне Александровне.

Анна Александровна отвела руку с папиросой и заломила бровь:

– Да, были в родстве.

Как все люди ее поколения, она избегала разговоров о прошлом, даже столь отдаленном. На всякий случай они засыпали ее вопросами. Она отвечала сухо. Да, Михаил Сергеевич Лунин был братом ее прабабки. А покойный муж Саниной мамы Степан Юрьевич Стеклов был потомком Сергея Петровича Трубецкого. Сын Сергея Петровича жил на Большой Никитской. Трубецких было множество, огромный род. Этот дом около ста лет принадлежал одному из Трубецких. Первый владелец Дмитрий Юриевич, но это другая линия, не та, от которой декабрист. Сама она кровного родства с Трубецким не имеет, а вот Саня – потомок по женской линии...

Тут Миха возмутился:

– И ты молчал?

– Да почему я должен об этом особо распространяться? – скривился Саня.

– Ну ты даешь! Да всякий бы гордился! – Миха смотрел на Саню изменившимся взглядом. – Да что ты! Это же про них: «Во глубине сибирских руд...» и все такое...

Такое умильное восхищение написано было на морде рыжего, что Саня его жестоко осадил. Склонившись к его уху, тихо, чтобы Анна Александровна не слышала, сказал ему:

– Ага! Во глубине сибирских руд два мужика сидят и срут. Не пропадет их скорбный труд, говно пойдет на удобренье!

Анна Александровна с детства перекормила его этими историями, и он был равнодушен к своим земным корням.

Илья то ли услышал, то ли догадался, залился своим длинным хохотом: уж больно смешным показалось ему Михино ошеломленное лицо. Длинными детскими ресницами похлопав, Миха сказал дрожащим голосом:

– Как ты можешь? Как ты смеешь? Да за такие слова тебя на дуэль...

Анна Александровна наслаждалась этой сценой: ее рыжий фаворит, предков которого и на порог аристократического дома не пустили бы, собирался вызывать на дуэль ее внука.

– Глупые вы детки, хотя усы уже растут. Поставь, Санечка, чайник.

Саня послушно пошел на кухню. Анна Александровна зашуршала в буфете. Сегодня там не было ничего особенного – сушки да сухари. Но запах ванили и еще чего-то, дореволюционного, всегда оттуда шел, когда верхнюю створку распахивали, и Миха его очень любил.

Чай пили в молчании. Миха с Ильей молчали, переживая открытие, что давно и хорошо знакомые люди состоят в таком высоком родстве, и даже ощущая свою сиюминутную близость к великой истории.

«Надо всех их сфотографировать, – решил Илья, – Анну Александровну, и Надежду Борисовну, и Саню. Чтобы была полная коллекция, – подумал Илья. – Первым делом Анну Александровну, а то ведь скоро умрет, наверное».

И уже прикидывал, что надо сделать настоящий портрет, чтобы и нос с горбинкой, и пучок, который держался на большой коричневой заколке, и маленькие завитушки седых волос, падающие за длинными ушами на морщинистую шею, – чтобы все это было видно. И он прикидывал такой поворот, чтобы в кадр попала и впалая щека, и длинное ухо с бриллиантом в отвисшей мочке.

Миха хрумкал сухариками и размышлял, прилично ли спросить Анну Александровну, почему полковник Трубецкой не вышел на Сенатскую площадь и предал своих товарищей. Но постеснялся.

Анна Александровна тем временем встала и удалилась за ширму. Скрипнула дверца шкафа, и она внесла и поставила на стол объемную шкатулку, обитую золотистым гобеленом, а из нее – драгоценную книгу, изданную в Лондоне, в Вольной русской типографии Герцена в 1862 году, – «Записки декабристов».

– Вот. Руки помойте, носы подотрите и листы переворачивайте с осторожностью. И не все слушайте, что говорят и пишут о декабристах, – она как будто услышала не заданный Михой вопрос. – История у нас в России, вне всякого сомнения, паршивая, но то время было не самым худшим, в нем было место и благородству, и достоинству, и чувству чести. Руки чистые?

Миха почтительно переложил кота с колен на подушку и понесся в ванную отмывать руки, чтобы достойным образом коснуться книжной редкости. Вернувшись, раскрыл книгу на случайном месте и прочитал вслух:

– «Тяжела мысль быть обязанным благодарностью человеку, о котором имел такое худое мнение».

– Ну-ка, ну-ка, дай сюда книгу. – Анна Александровна мельком взглянула на открытую страницу, улыбнулась торжествующе. – Вот о том я и говорю. Это Сергей Трубецкой пишет после допроса. В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое декабря он был арестован, и допрашивал его сам государь Николай Павлович. Он ужасался, как мог князь, потомок Гедиминовичей, то есть более знатной семьи, чем сами Романовы, «спутаться с этой дрянью». И в конце разговора сказал: «Пишите жене, что жизнь ваша вне опасности». То есть государь принял решение до расследования! Но Трубецкой-то знал, что вина его велика, и брал на себя все, даже замышляемое цареубийство, против которого был на самом деле решительно настроен.

– Виктор Юльевич говорил, что все декабристы давали показания, все честно рассказывали, потому что думали, что царь их поймет и поменяет свою политику, – уточнил Миха. Ему очень хотелось хорошо выглядеть в таком благородном собрании.

– Да, они говорили правду. Трубецкой каялся на допросах горько, но никого не оговаривал. До вранья они не унижались. Что же касается Сергея Петровича, из многих воспоминаний следует, что в Сибири ссыльные его любили и уважали. Вообще, среди декабристов, насколько я знаю, был только один предатель, капитан Майборода. Он донес о готовящемся выступлении недели за три. Точно не скажу, может, еще один или два были. Но привлекалось-то по делу

больше трехсот человек! Почитайте сами! В конце концов, протоколы допросов опубликованы. Доносительство тогда было не в моде, вот в чем дело! – с нажимом сказала Анна Александровна, но заметил этот нажим только Илья.

– История, надо сказать, с евангельским оттенком. Майборода удавился. Спустя много лет, но...

– Как Иуда! – воскликнул Миха, обнаружив знание Священной истории.

Анна Александровна засмеялась:

– Молодец, Миха! Культурный человек!

Миха осмелел от поощрения:

– Анна Александровна, а кто из декабристов самый... – запнулся, хотел сказать «лучший», но это было бы слишком по-детски, – любимый?

Анна Александровна полистала книгу. В нее было вложено несколько репродукций. Вынула вырезанный откуда-то портрет на пожелтевшей бумаге.

– Вот. Михаил Сергеевич Лунин.

Мальчики склонились над портретом. Они уже видели это лицо – в коллекции Ильи. Но там он был молод, пышноус и полногуб, а здесь лет на двадцать старше.

– Смотри, ордена, видишь, вон крест, и еще рядом что-то, не разобрать, – заметил Илья.

– Он был участником кампании восьмьсот двенадцатого года. Про ордена я знаю только, что их публично бросили в огонь, когда он был осужден, – Анна Александровна улыбнулась, – но героем от этого он быть не перестал.

– Какие сволочи! – вспыхнул Миха. – Боевые награды – в огонь!

– Да. Его не было в Петербурге, когда произошло выступление. Его доставили в Петербург из Варшавы. Он был один из организаторов Северного общества, но к этому времени уже отошел от заговорщиков. Он считал, что они недостаточно решительно действуют. Лунин планировал царевубийство, но другие его не поддержали. И Трубецкой, выбранный впоследствии «диктатором», был против царевубийства.

– А ведь если бы Лунин тогда их уговорил, то и Октябрьская революция на сто лет раньше свершилась! – глаза у Михи округлились и слегка вылупились от восторга.

Все засмеялись.

– Миха, но тогда она бы была не октябрьской, – отрезвила Анна Александровна Миху.

– Ну да, Анна Александровна, это я не сообразил. А что дальше было с Луниным?

– Михаил Сергеевич после окончания срока каторги был снова арестован, уже за его письма. Там еще было сочинение с разбором донесений, представленных императору Тайной комиссией. Это опубликовано. Вот за это его арестовали второй раз, послали опять в тюрьму, а там он умер. Был слух, что не своей смертью. Вероятно, по приказу императора его убили.

– Какая низость! – воскликнул Миха.

Миха переживал смерть Лунина несколько дней. Написал стихотворение «На смерть героя».

Это была самая красивая, самая героическая страница русской истории, и под руководством Виктора Юльевича именно на ней ребята тренировали ум и сердце.

В сочинении, написанном Михой Меламидом, приведены были строчки из Герцена: «... я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронem, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, алтарь и пушки – все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу».

Дальше мальчик писал уже своими словами: «Так и остались они не отомщенными до сих пор».

Учитель был растроган Михиным сочинением: вот, его мальчик нащупал эту точку перехода, нравственный кризис ровесника, жившего сто с лишним лет тому назад.

Нет, жизнь, конечно, шире, чем волнующие знания о декабристах. В частности, надвигался Новый год, главный праздник, единственный не казенный, не краснознаменный, вполне человеческий праздник с реабилитированной елкой, легитимной выпивкой (для взрослых!), подарками и сюрпризами.

В этот год не было никаких эпидемий, и все ожидали с великим нетерпением новогоднего вечера. За две недели до назначенного на тридцатое декабря школьного праздника всех охватило волнение: вот-вот свершатся все любовные замыслы.

Это был первый вечер с девочками, и они пришли без форм, наряженные – в платьях и кофточках, цветные, как бабочки, некоторые – с распущенными волосами. Учительницы тоже принарядились. Виктор Юльевич с некоторым умилением отметил, что волнение праздника охватило всех без исключения. Даже директриса Лариса Степановна надела туфли на каблуках и пришила к воротнику брошку в виде разляпистой бабочки, существа, не имевшего к ней ни малейшего отношения.

Вечер старшеклассники готовили так долго и тщательно, с намерением не упустить ничего из арсенала разрешенных развлечений, что проект в течение декабря постоянно менялся. Сначала задумали устроить костюмированный бал, потом перерешили – пусть бал будет не костюмированный, зато с хорошо подготовленной самодеятельностью. Обсуждалось даже предложение пригласить настоящий оркестр, но оказалось не по деньгам. Может быть, капустник или, наоборот, культурная программа с Шубертом в исполнении Наташи Мирзоян и чтением стихов? Или какое-нибудь театральное действо?

Как всегда при таком изобилии замыслов, взяли всего понемногу, и всё вразнобой. Те, кто желал прийти в костюмированно-карнавальном виде, нацепил на себя что-то нелепое и смешное. Катя Зуева, в соответствии с давно вынашиваемым планом, явилась в виде почтальона, с кондукторской сумкой, изображавшей почтальонскую. На груди висела выкрашенная бронзовкой картонка с цифрой «5», изображавшая медную бляшку, но вместо синей форменной фуражки – треуголка из газеты. На спине для совсем уж недогадливых была привешена синяя картонка с белой надписью «Почта». Ее подруга Аня Филимонова вырядилась цыганкой: цветастая юбка, кольца в ушах, самодельное монисто и большая шаль, которую мать вытащила из сундука и велела беречь – старинная. В руках она держала колоду карт, которую собиралась пустить в ход и гадать всем желающим. Но застеснялась. Сначала она вообще не хотела рядиться, но Катя ее уговорила: ей нужна была поддержка.

Еще был запланирован стихотворный монтаж и гимнастическая пирамида «ёлка», которую разучила секция гимнастики в полном составе. Двенадцать человек, залезая друг на друга, должны были изобразить елку с игрушками.

Преподаватель труда хромой Иткин надел на пиджак орденские планки, а физкультурник Андрей Иванович впервые появился не в обычной «мастерской» фуфайке синего цвета на молнии, а вырядился в белый свитер. Оба благоухали одеколоном – трудовик «Тройным», физкультурник «Шипром». Заводили пластинки со старыми песнями, танцевать под которые могли бы только дрессированные медведи в цирке. Когда же зазвучала «Рио-рита», девочки стали перебирать ногами, но выйти в середину зала никто не решался до тех пор, пока физкультурник не пригласил старшую пионервожатую. Так они и протанцевали эту «Рио-Риту» единственной парой под неодобрительные взгляды более старших товарищей. Спасла положение высокоорганизованная девятиклассница, член комитета комсомола Тася Смолкина, которая объявила несколько общих игр – «ручеек» и «кольцо» для тех, кто помоложе, и «почту» для тех, кто связывал любовные надежды с этим балом.

Почтальон Катя Зуева раздала номерки, все начали писать записки. Катя сновала по залу, разнося почту. Виктор Юльевич стоял у окна, выбирая момент, чтобы ускользнуть в учительскую покурить. Когда он шел к выходу, почтальонша перехватила его и вручила сразу два письма. Он сунул их в карман. «Я вас люблю» – было написано в записке без обратного адреса. «Любите ли вы прозу Пастернака?» – во втором, присланном от номера 56.

Виктор Юльевич спустился в учительскую, где две молоденькие учительницы начальной школы – одна хорошенькая, вторая так себе – шептались и хихикали точно как восьмиклассницы. Видно, что и они от этого праздника ожидали каких-то женских радостей, свою долю небольшого счастья.

Виктор Юльевич порвал любовную записку, обрывки бросил в пепельницу. Старшеклассницы разделились на два лагеря – часть обожала Виктора Юльевича, другая, меньшая, предпочитала физкультурника. Литератор развернул вторую записку – написано было круглым девичьим почерком, твердым грифелем, очень бледно. Принял вызов, написал ответ: «Кроме “Детства Люверс”», свернул, надписал адрес «56» и задумался: ему казалось, что в русской литературе нет ничего о детстве девочек. Как же он забыл об этой ранней повести Пастернака? Он читал ее еще до войны, совсем мальчишкой, и она ему тогда не понравилась своей путаностью, зыбкостью, невозможностью ухватить конструкцию, излишеством слов. Но ведь это была единственная в русской литературе, кажется, книга о детстве девочки. Как он упустил ее из виду? Там было все, что сегодня его занимало: пробуждение сознания, психологическая катастрофа не предвещенная о грядущем огромном физиологическом событии девочки и первое переживание смерти! Ему захотелось немедленно, сию минуту ее перечитать. В его домашней библиотеке прозы Пастернака не было. Наверное, надо поискать в Ленинке...

Виктор Юльевич пошел в зал, сунул подскочившей Кате-почтальонше записку. Он пропустил гимнастическую пирамиду и Шуберта. Музыка упала до нуля – закончился вальс. Зашаркали к пристенным местам. И неожиданно ярко, среди пыльной тишины раздался звон пощечины. Все обернулись. Посреди зала стояла рослая пара – Аня Филимонова в своем нелепом цыганском обличье и Юра Буркин. Аня прижимала к груди снятую шаль. Юра прижимал руку к щеке, где зрел след волейбольной ладони его решительной дамы.

Сцена, достойная Гоголя. Но занавес не давали. Все замерли, ожидая развития сюжета. И сюжет завершился – Юра отнял от щеки руку, слегка отвел ее в сторону и шлепнул по лицу с чмокнувшим поцелуйным звуком свою партнершу.

Раздался всеобщий тихий «ах!», Катя кинулась к подруге, всё пришло в движение, все заволновались. Зарыдала на плече Кати побагровевшая Аня. Сквозь рыдания прорывалась басовитая прерывистая жалоба:

– Он... он... высморкался... в шаль!

Юра выскочил из зала. Катя огляделась.

– Неужели нет никого, кто вступится за честь... – Она была бледна, свирепа, и видно было, что она и сама готова разорвать обидчика. Весь год они только и говорили, что о благородных мужчинах и прекрасных дамах!

Миху вынесло из зала как на крыльях. Он настиг Юрку в мужской уборной. Тот дрожащими руками раскуривал отцовскую папиросу, которую стырил у него вчера вечером. Он вообще-то не курил – его от курева тошнило. Он с шестого класса все пробовал, но никак не мог научиться. Но курение ему нравилось само по себе, и в данный момент он предчувствовал, что его не затошнит.

Миха вырвал из его рук папиросу, сломал ее надвое, отшвырнул в сторону и холодно, спокойно, с презрением в голосе произнес:

– Дуэль! Я вызываю на дуэль!

Хотелось сказать «вас», но было бы уж слишком глупо. А «тебя» почему-то тоже не годилось.

– Миха, ты что, охренел? Она просто шуток не понимает, дура. Цыганка-засранка! Какая дуэль?

– Стреляться мы не можем, нет пистолетов. И вообще никакого оружия нет. Бой будет на кулаках, но по всем правилам!

– Ты что, Мих, охренел?

– Еще и трус. Мало того, что хам, – горестно произнес Миха.

– Ну ладно, если ты так хочешь, – неохотно, но вполне миролюбиво согласился Юрка. – А когда?

– Сегодня.

– Да ты что, Миха, полдесятого уже.

Миха использовал все свои организаторские способности, и дуэль состоялась через час в Милютинском саду.

Десятиклассники отговаривали Юрку, девятиклассники – Миху. Правила дуэли импровизировали на ходу.

Юрка всю дорогу ныл:

– Миха, ну на фига тебе это мордобитие? Мне домой пора, меня отец ругать будет, мать небось уже в школу побежала.

Но Миха был непреклонен:

– Дуэль! До первой крови!

Илья с Саней переглядывались, перемигивались, даже тихонько пересмеивались. Саня шепнул ему: «Христосик наш!»

Секундантами были Илья у Михи, Васька Егорочкин у Юрки. Снегу в саду намело много, секунданты утоптали небольшую площадку для боя. Саня предложил дуэлянтам надеть кожаные перчатки, но такой роскоши ни у кого не было. Саня почему-то был уверен, что нельзя драться голыми руками:

– Древние греки кожаными ремнями руки оборачивали!

Откуда это он взял? Но говорил уверенно. Ремней было сколько угодно. Секунданты вытащили ремни из брюк, сцепили два по два и положили на снег, вместо барьера. Теперь дуэлянты должны были сходиться по счету и начинать на счет «три».

Дуэлянты обмотали руки школьными ремнями, но пряжкой внутрь. Было очень неудобно.

– Может, без ремней? – с надеждой предложил Юрка.

Миха не удостоил его ответом.

Илья предложил Буркину принести свои извинения.

Миха резонно отверг это предложение:

– Извиняться надо перед дамой.

Юрка обрадовался:

– Да за ради бога! Хоть сейчас!

Ввиду отсутствия дамы перемирие было отклонено.

Миха снял очки и передал их Сане. Сбросили пальто.

– Может, хватит уже? – шепнул Саня.

– Держи! – неожиданно рявкнул распаленный Миха.

Илья начал считать. На счет «три» они сошлись.

Они стояли друг перед другом, плотный Юра, Миха пожиже, но и позлей. Миха подпрыгнул на месте и сразу двумя кулаками, почти одновременно неловко и небольно влепил Юре по лицу.

Юра наконец обозлился. Нанес один-единственный удар по носу. Первая кровь немедленно хлынула. Саня застонал, как будто ударили его, и вынул чистый носовой платок. Удар

был не столько сильный, сколько точный. С этого времени Михин нос был немного сбит на одну сторону. Болело долго. Вероятно, это был все-таки перелом.

Дуэль можно было считать завершенной.

В это же время, когда школьники разошлись, пара молоденьких учительниц с Андреем Ивановичем культурненько заканчивали скромную выпивку, а в раздевалке оставалась только гардеробщица и уборщица, которая иногда, когда муж сильно запивал, ночевала в подсобке. Катя Зуева, уже без газетной треуголки, в коричневом пальто с надставленными черным драпом рукавами и подолом, сидела на стуле гардеробщицы, дожидаясь Виктора Юльевича.

Когда он спустился в раздевалку, она протянула ему записочку:

– Вам письмо.

Он с недоумением посмотрел на нее – уже забыл про игру.

– А-а-а, да-да, спасибо, – и рассеянно положил в карман пальто.

Нашел он этот клочок бумаги в кармане утром следующего дня:

«Я могу вам дать его новый роман. Хотите? Катя».

Он не сразу вспомнил, о чем идет речь.

Третьего января Катя ему позвонила и, все еще немного исполняя роль почтальона, принесла отпечатанную на машинке рукопись.

Новый роман Пастернака назывался «Доктор Живаго». Первые же страницы – до похорон Марии Николаевны Живаго – глубоко поразили Виктора Юльевича. Это было продолжение той русской литературы, которая казалась ему полностью завершенной, совершенной и всеобъемлющей. Оказалось, что эта литература дала еще один побег, современный. Каждая строка нового романа была о том же – о мытарствах человеческой души в пределах здешнего мира, о возрастании человека, о гибели физической и победе нравственной, словом, «о творчестве и чудотворстве» жизни.

Все каникулы Виктор Юльевич был полностью погружен в роман Пастернака. Он очарован был стихами, так неуклюже и необязательно прицепленными в конце – узнаваемо пастернаковскими, в то же время новыми по простоте. Это была, по всей видимости, та самая «неслышанная простота», о которой поэт давно уже грезил...

Дочитав до конца, начинал сначала. Он находил в нем всё новые драгоценности мысли, чувства и слова, но одновременно отмечал слабости, и слабости ему были тоже симпатичны. Они толкали к размышлениям. Схематичная Лара, постоянно совершающая поступки, свидетельствующие о ее глупости и себялюбии, не нравилась Виктору Юльевичу. Зато как она нравилась автору!

Виктор Юльевич сомневался, нужны ли такие нагромождения случайностей, совпадений и неожиданных встреч, пока не понял, что все они изумительно завязываются в сцене смерти Юрия Андреевича, в параллельном движении трамвая с умирающим Живаго и мадемуазель Флери, неторопливо шествующей в том же направлении, к освобождению – один покидал землю живых, вторая покидала землю своего рабства.

«Великий постскриптум к русской классической литературе», – вывел Виктор Юльевич свое заключение.

Десятого января, в последний день каникул, Виктор Юльевич позвонил Кате. Они встретились около магазина «Ткани» на Солянке. Он поблагодарил девушку за огромное счастье, которое она ему доставила.

– Я сразу, как только прочитала роман, поняла, что есть человек, которому надо его дать.

После чего она выложила ему то, о чем бы он ни в коем случае ее не спросил: откуда взялась рукопись.

– Моя бабушка дружит с Борисом Леонидовичем чуть не всю жизнь. Она его роман перепечатывала. Это бабушкин экземпляр.

Виктор Юльевич накрыл горячей рукой болтливый рот:

– Никогда и никому этого не говорите. И мне вы этого не говорили.

Он держал ладонь на ее губах, и они чуть-чуть двигались, как будто что-то шептали беззвучно.

Ей только что исполнилось семнадцать лет. Она едва вышла из детства, в ней еще проглядывали ухватки ребенка. Длинная голая шея торчала из пальто. Шарфа не было. Шапка была детская, капором, с завязками под подбородком. В светло-карих глазах – обида, слезная влага.

– Я же никому – только вам. Я знала, что вам понравится. Ведь правда?

– Не то слово, Катя. Не то слово. Такие книги меняют жизнь. Я вам благодарен по гроб жизни.

– Правда? – ресницы взметнулись, глаза вспыхнули.

Господи, да это же Наташа Ростова! Вылитая Наташа Ростова!

Перехватило дыхание.

После окончания Катей школы они поженились. Первыми об этом узнали, конечно, «люрсы». Они были в восторге. Катин живот к сентябрю был замечен внимательному глазу, и он вызывал у «люрсов» дополнительное восхищение.

Это событие сблизило их с учителем настолько, что после заседаний кружка они, случалось, совместно распивали бутылку хорошего грузинского вина, которое не переводилось в доме Виктора Юльевича. Даже стали звать его Викой – уже не за глаза. И он не возражал, сохраняя в общении старомодное и уважительное «вы».

Заседания кружка любителей русской словесности по-прежнему проходили в комнате Ксении Николаевны, но жил Виктор Юльевич теперь в квартире Катиного родственника, уехавшего на север и оставившего им в пользование квартиру у метро «Белорусская», в доме железнодорожников, окнами на пути и с круглосуточным аккомпанементом: поезд отправляется, поезд прибывает...

Последний бал

Это были лучшие годы Виктора Юльевича: увлекательная работа, поклонение учеников, временно счастливый брак. Образовался даже известный недостаток – теперь два вечера в неделю он частным образом репетиторствовал.

Работал он очень много, но «люрсы» по-прежнему собирались у него по средам. Выпуск пятьдесят седьмого года был у Виктора Юльевича любимым, у них он с шестого класса был классным руководителем, знал пап-мам, бабушек-дедушек и братьев-сестер. Разница в возрасте в пятнадцать лет уже начала сокращаться: мальчики становились молодыми мужчинами, да и женитьба учителя на их сверстнице уменьшала расстояние.

Конец пятьдесят шестого года ознаменовался рождением дочки – первого декабря Катя родила восьмимесячную девочку, двухкилограммовую крошку, очень складненькую. Назвали ее Ксенией, в честь бабушки. Но даже этот дипломатичный ход не смог залатать сердечной раны Ксении Николаевны, полученной от женитьбы сына. Она не допускала мысли, что другая женщина будет готовить Вике завтрак, разговаривать с ним по вечерам, ждать его из школы, будить по утрам. К тому же она испытывала к Кате особую неприязнь – химическая реакция крови, взаимоотношения свекрови и невестки! – считала, что малолетка его обольстила, совратила, обманула, словом, вынудила к женитьбе.

Педагогический коллектив придерживался на этот счет другого мнения. Учительская чуть не взорвалась от слухов, пересудов и сплетен, которые в среде учителей, вернее учительниц, были особенно злыми и грязными. А уж когда родилась дочка, педагогический состав зашелся от подлого счастья. Преподавательница математики, Вера Львовна, загибая пальцы, наглядно продемонстрировала в учительской, в каком именно месяце третьей четверти должна была Зуева забеременеть, чтобы родить в декабре.

Парторг Рыбкина, она же завуч, советовалась с вышестоящим руководством и по линии роно, и по райкомовской линии, что делать с учителем-преступником, потому что налицо был факт растления несовершеннолетней. С другой стороны, малолетка за истекшие месяцы стала совершеннолетней, и одновременно нарушитель уголовного законодательства оформил брак. Но не оставлять же без наказания?

Учителя дружно и напряженно замолкали, когда Виктор Юльевич входил в учительскую. Руководство школы, ее святая троица – директор, парторг и профорг, – сначала было хотели собрать педсовет по этому поводу. Но Лариса Степановна предпочла провести предварительный зондаж начальства. Докладные были написаны в роно и в райком партии.

Именно в эту последнюю школьную зиму Виктор Юльевич начал писать книгу, к которой несколько лет готовился. Уже и название родилось – «Русское детство». Его не особенно заботил жанр книги: сборник эссе или монография.

Он не претендовал на открытие, но отчетливо понимал, что интересы его лежат между разными дисциплинами: возрастной психологией, педагогикой, антропологией в самом широком смысле слова. При этом логика его мысли выстраивалась скорее по тем законам, которыми пользовались медики и биологи. Здесь сказывалось влияние друга Колесника.

Он описывал, как ему представлялось, зону нравственного пробуждения подростка, которая в норме является таким же обязательным этапом, как прорезывание зубов, гульканье, как первые шаги, совершающиеся в исходе первого года. То есть вся та волнующая и рутинная последовательность развития человека, которую он наблюдал теперь у себя дома.

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,

Щебечут, свищут – а слова
Являются о третьем годе...

Эта поэтическая модель Пастернака была для него убедительней всех выкладок возрастной психологии. Нравственное созревание представлялось ему столь же закономерной особенностью человека, как и биологическое, идущее параллельно. Но пробуждение происходит по-разному, и зона эта сильно варьирует в зависимости от индивидуального склада и некоторых других причин. Нравственное пробуждение, или «нравственная инициация», как он полагал, происходит у мальчиков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет, обычно при наличии специальных неблагоприятных обстоятельств – несчастье или неблагополучная семейная жизнь, унижение достоинства личного или достоинства близких людей, потеря родного человека. Словом, переворачивающее душу, пробуждающее ее событие. У каждого человека имеется своя собственная «болевая точка», и именно с нее и начинается эта персональная революция личности. Почти обязательным в этом процессе, по мысли Виктора Юльевича, оказывается присутствие «инициатора» – учителя, наставника, старшего друга, а если родственника, то достаточно дальнего. Как и в случае с крещением, в обычных условиях, вне опасности для жизни, кровные родители редко бывают восприимчивыми. В исключительных случаях таким «инициатором» может послужить даже вовремя пришедшая в руки книга.

Далее, после всестороннего анализа этого явления, автор описывал несколько случаев инициации такого рода, почерпнутых из русской классической литературы, рассматривал созревание современных подростков и анализировал причины столь позднего созревания, и, что самое существенное, отмечал катастрофическую тенденцию «избегания инициации».

Виктору Юльевичу приходило также в голову, что именно в этом возрасте у лютеран и англикан происходит процесс конфирмации, то есть «подтверждения», осознанного принятия веры, еврейские мальчики проходят «бар-мицву», принятие в сообщество взрослых, а мусульмане совершают обрезание. Таким образом, оказывалось, что сообщества людей религиозных придают особое значение этому переходу от детства во взрослое состояние, в то время как мир атеистический полностью утратил этот важнейший механизм. Нельзя же всерьез считать его заменой вступление в пионерскую или комсомольскую организации.

Общество опускается ниже нравственного минимума, когда число не прошедших в ранней юности процесс нравственной инициации превышает половину популяции, – такая точка зрения сложилась у Виктора Юльевича в ту пору.

У него возникли серьезные разногласия с покойным Выготским по части формирования и смены культурных интересов, но это не имело большого значения: возрастная психология была «закрыта» вместе с генетикой и кибернетикой. Собственно, никаких надежд на публикацию своей будущей книги Виктор Юльевич не питал. Но какое значение могли иметь эти прагматические соображения, когда жизнь летела на огромной скорости, и в ней было все, о чем можно мечтать: творчество, чудесная юная жена с той самой пленкой с желтым пятном, крохотный ребенок с удивительными пальчиками, губками, глазенками, маленькое животное, с каждым днем все более очеловечивающееся, ученики, своим восхищением поднимающие его на невиданную высоту. Улыбался во сне, улыбался, просыпаясь.

Страна тем временем жила своей безумной жизнью – после невидимой свары у гроба Джугашвили, тайной борьбы за власть, после возвращения первых тысяч лагерников и ссыльных, после необъяснимого, неожиданного XX съезда партии, – начались и окончились венгерские события.

Виктор Юльевич, погруженный в свое новое состояние, следил за происходящим вполглаза. «Внутренняя часть» жизни в этот период оказывалась важнее «внешней».

В сентябре, в первые дни занятий, старшая пионервожатая Тася Воробьева, симпатичная студентка-вечерница пединститута, с которой у Виктора Юльевича были хорошие отношения, сунула ему пачку «слепых» листочков с перепечаткой доклада Хрущева на XX съезде партии. Хотя прошло уже полгода с момента выступления, до сих пор он не был нигде опубликован. Этот полуправдивый и опасливый доклад распространялся только по высшим партийным каналам, рядовые партийцы получали сведения на закрытых собраниях, со слуха. Текст шел под грифом «Для служебного пользования», не для рядовых. Это была все та же советская фантазмагория. Секретный доклад для одной части народа, который он должен хранить в тайне от другой. Государство с поврежденным рассудком.

Виктор Юльевич внимательно прочитал этот текст, о котором так много говорили. Интересно, очень интересно. История вершится на глазах. Тиран пал, и через три года свора осмелела поднять против него голос. Где вы раньше были, такие умные? Документ, в сущности, великий по своим последствиям, был одновременно страшным и разоблачительным для партийного руководства страны. Этот перепечатанный доклад, ходивший по рукам, стал первым подпольным изданием самиздата, который в те годы еще не обрел своего названия.

Перепечатка доклада Хрущева уже ходила по Москве, а для рукописи «Доктора Живаго» час еще не пришел. Зато хождение начали стихи из романа.

«Странное дело, – размышлял Виктор Юльевич, – как во времена Пушкина, ходят по рукам стихотворные списки. Какая перемена! Глядишь, и сажать перестанут!»

Окоченевший от страха народ оживал, шептался смелее, ловил «враждебные» голоса, печатал, перепечатывал, перефотографировал. Пополз по стране самиздат. Это подпольное чтение еще не утвердилось как новое общественное явление, каким станет в последующее десятилетие, но перепечатанные смельчаками бумажки уже шуршали по ночам в руках жадных читателей.

Хрущев так все перебаламутил этим разоблачением культа личности Сталина, что вместо прежней ясности возникло нечто непонятное. Все замерли в ожидании. Судьба учителя литературы, который женился на своей ученице и произвел ребенка не совсем по расписанию, все не решалась, несмотря на все усилия школьного руководства.

В конечном итоге дело было рассмотрено. Роно оказалось более требовательным, чем райком. Было принято решение об увольнении, но спохватились, что прежде он должен «довести» выпускников. Чтобы не спугнуть учителя, о планирующемся увольнении решено было ему пока не сообщать – да и в самом деле, если он уйдет посреди года, то кем же его заменить? До Виктора Юльевича постоянно доходили какие-то неопределенно-неприятные слухи, но он к этому времени и сам решил уходить, как только закончит учебный год.

К весне пятьдесят седьмого кружок любителей русской словесности превратился в репетиторскую группу по подготовке к экзаменам – три четверти класса собирались на филфак. Миха регулярно ходил на эти занятия, хотя по литературе был в классе первым. Он знал, что евреев на филфак не берут, но знал также, что ничего другого ему не нужно.

Старший двоюродный брат Михи, Марлен, дразнил его, предлагал помочь с поступлением в рыбный институт, уверял, что рыба для еврея гораздо более пристойная профессия, чем русская литература, и выводил этим Миху из себя.

К весне слух о том, что Виктора Юльевича собираются выгонять из школы, дошел до десятиклассников. Говорили, что учителя написали на него какую-то кляузу, связанную с женитьбой на бывшей ученице. Ребята готовы были куда угодно идти и писать, чтобы защитить любимого учителя. Ему не без труда удалось внушить им, что он и сам собирается уходить из школы, давно хочет заниматься научной работой, писать книги, и уж они-то могли бы понять, как надоели ему школьные тетрадки, тетki, политинформации и все эти хренации, и только из-за них, своих любимых «люрсов», он не ушел из школы сразу же после женитьбы.

– Тем более, – добавлял он, – я свою замену вырастил. Сами знаете, сколько преподавателей литературы даст наша школа через несколько лет.

Это правда. С тех пор как он работал в школе, половина каждого выпуска шла на филфак – кто в университет, кто в педагогический институт. Девочки послабее шли в библиотечный, в архивный, в институт культуры. Небольшая, но славная армия ребят была обучена редкому искусству читать Пушкина и Толстого. Виктор Юльевич был убежден, что его дети тем самым получили достаточную прививку, чтобы противостоять мерзостям нашей жизни, свинцовым и всем прочим. Тут он, возможно, ошибался.

Гораздо более, чем последними экзаменами, «люрсы» были увлечены подготовкой к выпускному вечеру. Затевался грандиозный спектакль. Заранее было объявлено, что никакого алкоголя не разрешается. С одной стороны, запрет этот можно было легко обойти, с другой – никого это особенно не волновало. Главное, всем было ясно, что прощание со школой было расставанием с Виктором Юльевичем, и прощание это было удвоено тем, что сам Виктор Юльевич покидает школу вместе со своим выпускным классом, о чем он им успел сказать.

Ребята держали в секрете свои приготовления, но Виктор Юльевич догадывался о широкомасштабности предстоящего события, поскольку до него дошло, что несколько мальчишек вместо усиленной подготовки к экзаменам проводят дни и ночи в мастерской скульптора Лозовского, отца Володи Лозовского, и строят там нечто грандиозное.

Илья увеличивал фотографии и делал теневые картинки, которые проецировались на стенку. Это была оригинальная сценография, никем до него не придуманная.

Миха, отодвинув в сторону учебники, писал пьесу в стихах. Там был миллион действующих лиц, от Аристофана до Иванушки-дурачка, от Гомера до Эренбурга.

Когда выпускные экзамены были успешно сданы, настал день выпускного бала. Это ежегодное торжество имело свои устоявшиеся каноны. Девочкам шили платья, даже белые. Они сооружали на головах парикмахерские прически, красили ресницы, и капроновые чулки в этот день тоже были разрешены.

Это была генеральная репетиция будущего первого бала, который у большинства никогда не состоится, ложное обещание грядущего сплошного праздника жизни, которого тоже не будет, расставание со школой, которое для всех без исключения было событием радостным, но в этот день окрашивалось фальшиво-печальными красками.

На выставленных сплошными рядами стульях сидели родители, главным образом мамы, тоже принаряженные и не менее взволнованные, чем их дети.

Когда сложная рассадка почти закончилась, случился неприятный инцидент. Два девятиклассника, Максимов и Тарасов, затесались в толпу выпускников и намерены были совершенно контрабандно ухватить кусок не причитающегося им праздника. Их вывели с позором, и они оскорбленно удалились. Предполагалось, что они покинули здание школы.

Началась торжественная часть. Вручали аттестаты зрелости и произносили речи. Начали вручение с медалистов – их было в тот год четверо – три серебра и одно золото. Золотую медаль выслужила Наташа Мирзоян, восточная красавица и подлиза. Серебряные – Полуянова, Горшкова и Штейнфельд по прозвищу «Благодаряк», который получил его еще в младших классах за особенности речи: вместо общепринятого, но малоупотребляемого «спасибо» он говорил «благодарю».

«Трианон» до медальных высот не поднялся. Учились все прилично, но отличниками сроду не бывали.

После торжественной части произошла заминка. По плану должен был идти спектакль, но по десяти разным причинам дело не ладилось, нужно было как минимум сорок минут, чтобы собрать по кускам разваливающееся действие. Пустили музыку. Но для танцев вдохновение

еще не пришло, и все немзыкально слонялись. В соседнем классе спешно пришивали последние цветы к венкам, накладывали грим и доучивали тексты.

Виктор Юльевич беседовал около окна с одной из родительниц. Заметил, что от двери машет рукой Андрей Иванович и делает знак – выйти!

Оказалось, что изгнанные из зала Максимов и Тарасов отнюдь не покинули помещение школы, а, напротив, забрались на чердак и распили там бутылку портвейна. На выходе с чердака они были взяты с поличным и доставлены в кабинет директора. Оба были пьяны, и это видно было невооруженным глазом.

Виктор Юльевич вошел, и директриса театрально обратилась к нему:

– Вот, полюбуйте, наши ученички!

Вид у тех был такой жалкий, что, ясное дело, они больше нуждались в утешении, чем в наказании.

Виктор Юльевич взял со стола директрисы пустую бутылку, повернул ее, рассматривая этикетку:

– Да, достойно порицания. Страшная гадость.

Директриса вела свою партию:

– Значит, так, родители ваши сейчас за вами придут, и это будет отдельный разговор. А вот если вы не скажете, кто там еще вместе с вами на чердаке безобразничал, будете из школы исключены!

Не было с ними никого, но Ларисе Степановне помстилось, что там была целая компания.

– Что ты смотришь на меня, Тарасов, наглыми глазами? К тебе, Максимов, это тоже относится. Называйте, называйте фамилии ваших сообщников. И не думайте, что вы их выгородите и им сойдет. Все равно найдем. Только себе хуже сделаете.

– Да, нехорошо, – кисло произнес Виктор Юльевич. – А где брали-то?

– В сотом гастрономе, – охотно ответил Максимов.

– И что же, дома у вас тоже этот портвейн пьют?

– Да мать вообще не пьет, – солгал Максимов.

Это мутное разбирательство длилось до тех пор, пока не приехал на служебной машине отец Тарасова, подполковник МВД. Лариса Степановна изложила ему сюжет. Тот стоял, наливаясь злобой.

– Разберемся, – хмуро сказал подполковник, и ясно было, что парню не поздоровится.

– А твоя мать когда придет? – Ларисе Степановне, видимо, тоже наскучило затянувшееся и бесплодное объяснение, тем более что ее место сейчас было в зале.

– Мать к тетке в Калугу поехала.

Работа мысли отражалась на лице Ларисы Степановны.

– Я возьму его под свою ответственность, а концерт кончится, отведу его домой. От греха подальше, а то ненароком в милицию заберут. – Виктор Юльевич положил левую руку на плечо Максимова.

– Идите, – махнула рукой. – И без матери, Максимов, в школу не приходи.

Замечание это не имело ровно никакого смысла, поскольку занятия уже закончились, а до следующего учебного года было три месяца каникул.

Виктор Юльевич привел бедолагу Максимова в зал, указал на стул:

– Сидите, Максимов, тихо и не привлекайте внимания.

Максимов благодарно кивнул. Мать ни в какую Калугу не поехала, к ней хахаль из Александра притащился, и они дома выпивали.

Миха, готовя спектакль, пытался зарифмовать все свои обширные знания в области литературы. Будущие актеры тоже творчески отнеслись к Михиному сочинению, им тоже было что добавить к шедевр, и сценарий достиг двухсот страниц.

Недели за две до вечера, в самый разгар экзаменов, когда все зубрили алгебру и химию, Илья взял Михину либретку, постриг все в мелкую лапшу, как-то перетасовал, и образовался сюжет, который первоначально даже не прощупывался, а теперь получилось смешное путешествие группы идиотов с их подлинными именами, готовых вот-вот влететь в неприятность, из которой они выпутываются исключительно благодаря вмешательству высших сил, которые представляет Виктор Юльевич в разных обличках, от Зевса до постового милиционера.

Виктора Юльевича изображал Сеня Свинын, лучший в классе актер. Он, между прочим, и собирался в театральное училище. Ему сварганили довольно удачную маску из папье-маше, изображающую учителя, правую руку он не вдел в рукав, а рукав завернули до половины и пришили.

Глупо все это было до изумления, но и безумно смешно. Статуя Зевса падала, разбиваясь на куски, из обломков вылезал, отряхиваясь, Свинын-Шенгели, Александр Сергеевич Пушкин искал какой-то потерянный предмет, и в конце концов оказывалось, что он ищет стройную ножку, и штук пятьдесят манекенных ножек с вытянутыми вверх носками проплывали по сцене, чеховское ружье в виде деревянной винтовочки для дошкольников попадало в руки тургеневских охотников и стреляло, и тряпочная чайка с отвратительным криком падала на середину школьной сцены...

И вся эта фантазмагория крутилась, конечно же, вокруг дорогого Юлича.

Санечка Стеклов в кудрявом парике и бархатном халате сидел за пианино и доводил своим сопровождением до блеска те места, где не совсем блистал текст.

Потом хором спели гимн, сочиненный, разумеется, все тем же Михой, и было бы непросительным упущением его не привести:

Он многорук и многоглаз,
От смерти каждого из нас
Он хоть единожды, да спас,
И потому идет рассказ
Начистоту и без прикрас,
Да, Виктор Юльевич, про вас!
Вы показали высший класс,
Что в жилах кровь течет, не квас,
Зовите, и в единый час
К вам соберется весь наш класс,
И от болот и до пампас
Сопровождать мы будем вас,
Куда б вы нас ни повели,
Хотя б на край земли.

Когда пение закончилось, в зале не было ни одного преподавателя. Все удалились в учительскую и тихо возмущались: нанесено оскорбление! По этой причине они не увидели заключительной сценки представления – ребята сбились в кружок и стали обсуждать, что бы им подарить на расставание любимому учителю. Были заслушаны разные более или менее комические предложения. Решено было, что дарить надо лучшее из возможного, что подарок должен быть безусловно ценным и «нерасходным», то есть ни съесть, ни выпить. А также полезным. И доставлять удовольствие! Наконец втащили на сцену огромную, в человеческий рост, коробку,

сняли переднюю крышку, обнаружилась гипсовая скульптура – стройная девушка в тунике. Она довольно натурально стояла в положенной античной позе, пока ей не скомандовали:

– Вперед!

Статуя ожила. Это была покрытая побелкой Катя Зуева-Шенгели. Надо сказать, что они долго уговаривали ее сыграть эту роль.

Она прошла через зал и под аплодисменты села у ног Виктора Юльевича.

Из зала выносили лишние стулья, накрывали столы. Учителей видно не было. Виктор Юльевич отправился в учительскую, чтобы попытаться «сломать» забастовку педагогического состава.

Его ждали. Лариса Степановна вышла вперед:

– От имени учительского коллектива, Виктор Юльевич, мы вынуждены вам сообщить... – начала торжественно директриса.

Но Виктор Юльевич быстро сообразил, что именно ему сейчас скажут. И он сделал первое, что пришло ему в голову. Он вытащил из кармана пиджака очешник, вынул старомодные очки в металлической оправе, надел на свой длинноватый, правильно нарисованный нос, приблизился к Ларисе Степановне, склонился к ее знаменитой брошке-бабочке, прицепленной к белому воротничку, и сказал умильным голосом:

– Ой, какая прелесть! Какой миленький поросенок!

– Вон отсюда! – хрипло и тихо произнесла Лариса Степановна.

«Побагровевшим от ярости голосом», – подумал литератор.

Из зала слышалась музыка.

– Да что вы так нервничаете? Пойдемте, выпьем лимонада и потанцуем! Ребята вас ждут!

Он улыбался своей обаятельной улыбкой, а про себя думал: «Сукин же я кот! Напрасно я их так унизил. А Лариса Степановна, бедняжка, у нее губки углами вниз, как у обиженной девочки. Того и гляди зарыдает... Какие же они плохие дети... но что теперь делать – не прощения же просить!»

На столе Ларисы Степановны лежал приказ об увольнении.

Она собиралась предъявить его в конце вечера. Было самое время. Дрожащей рукой она нашарила на столе судьбоносную бумагу:

– Вы уволены!

В дверь учительской стучали. «Люрсы» искали своего учителя. Если говорить с полной откровенностью, у них тоже было кое-что заготовлено. Не плохой портвейн, а хорошее грузинское вино.

Дружба народов

Шел пятьдесят седьмой год. Москва трепетала перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который должен был вот-вот открыться. Выпускники готовились к поступлению в институт. Перейдя из простой молодежи в категорию студентов, кроме благ образования, они получали освобождение от службы в армии. Все вкалывали с утра до ночи, каждый день Виктор Юльевич занимался с абитуриентами. К своим частным ученикам он присоединил несколько «своих», бесплатных.

«Трианону» армия не грозила. Илья обладал исключительным даром плоскостопия, Миха был близорук, Саня, со своими скрюченными пальчиками, тоже в автоматчики не годился. Словом, все они имели небольшие дефекты, освобождающие от воинской повинности. Илья занимался лениво, Саня, подавший документы по совету бабушки в иняз, не занимался вообще, валялся на диване, слушал музыку и читал книжки, даже иностранные. Хуже всего дело обстояло у Михи: евреев на филфак не брали, а он определился окончательно и бесповоротно – только туда. Кроме всего прочего, он был единственный, кто всерьез думал о стипендии. Родственная помощь обещана была до окончания школы. Конечно, на крайний случай можно было пойти на вечерний, но так хотелось пожить настоящим студентом.

– Я вообще не понимаю вашей гуманитарной страсти. Одно дело – книги читать, понимать, что там написано, удовольствие от них получать, но почему надо делать из удовольствия профессию? – Илья презрел филологию и принял самостоятельное решение – в Ленинградский институт киноинженеров, ЛИКИ.

У него в Ленинграде объявился дядя, который разыскал его вскоре после смерти отца. Он приглашал пожить до поступления у него. Получив аттестат, Илья сразу же уехал в Ленинград. Денег он скопил несправедливым путем огромную сумму в полторы тысячи рублей, три материнские зарплаты. Кроме поступления в институт, было у него еще и намерение гульнуть.

В тот год, в связи с Московским фестивалем, сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены в разные стороны, чтобы абитуриенты не скапливались в столице и не мешали празднику.

Киноинженерный институт Илье очень понравился. Дядька Ефим Семенович сказал, что до войны отец Ильи там работал, и до сих пор сохранились несколько человек, которые его помнят. Он стал звонить по разным телефонам, но, к сожалению, тех, кто помнил Исаю Семеновича, там не было, а кто был, тот не помнил.

Илья сбежал из Ленинграда в тот день, когда узнал, что начало экзаменов там как раз совпадает с открытием фестиваля. Этого великого события он не мог пропустить. Он подхватил свой фотоаппарат и вернулся в Москву с зажатым в руке паспортом, который он предъявил – с момента покупки обратного билета в кассе Московского вокзала до родного дома – пять раз: милиционерам, контролерам, дружинникам и просто желающим взглянуть на документ. В Москву пускали только москвичей.

Илья зашел к Михе. Оказалось, что Миха стал-таки студентом. Правда, поступил он не на филфак университета, а в скромный педагогический институт, где – известная шутка – по статистике, на восемь девочек приходилось два мальчика, один косой, другой хромым. Честолюбивые молодые люди без дефектов в пединститут не рвались.

Поступил Миха легко. Его удачный пол и хорошая подготовка перевесили плохую национальность. Но торжество было отравлено: в день, когда он нашел себя в списке принятых, умерла от воспаления легких бедная Минна, которую он ни разу не навещал в больнице. Она по три раза в году болела воспалением легких, и никак нельзя было предположить, что на этот раз болезнь окончательная.

Теперь он остался наедине со страшной тайной и с тяжким ощущением, что этот стыдный груз останется с ним до конца жизни. Слабоумная Минна была в него влюблена, и как-то постепенно он втянулся в странные сексуальные отношения, иначе не назовешь, хотя сексом в полном смысле слова происходящее между ними тоже назвать было нельзя. Минна подстергала его в слепом отрезке коридора возле уборной, загоняла в угол и прижималась к нему теплыми и мягкими частями тела, пока он с большой легкостью не вырывался, красный, трясущийся и вполне удовлетворенный. Он готов был убить себя каждый раз после этого ужасного тисканья, клялся, что в следующий раз оттолкнет ее и сбежит, но все не мог этого сделать. Она была ласковая, мягкая, местами волнуяще волосатая и совершенно косноязычная, и последнее ее качество исключало огласку.

Он просто умирал от чувства вины и отвращения, мысль о самоубийстве постоянно жила на задворках его сознания. О подсознании тогда еще не заикались.

Илья застал Миху в этом плачевном состоянии. Расспрашивать ни о чем не стал, но поволок его на улицу – развеяться.

Москва была необыкновенно чистая и относительно пустынная. Фестиваль открывался завтра. По пустому городу в разных направлениях шли колонны легковых машин, грузовиков с открытыми бортами, с закрытыми бортами, автобусов старомодных – ЗИСов и ПАЗов – и венгерских «Икарусов».

Всюду были флаги и огромные бумажные цветы, а девушки в то лето носили широкие пестрые юбки, натянутые на толстые нижние, как на зонтики, и талии у всех были перетянуты широкими поясами, а волосы взбиты на макушке.

Преодолев два легких заслона, ребята вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок: давай закадрим!

– Да ну тебя, – обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь.

– Прости, прости, Миха, я грубый человек! Хочешь, пойдем и напьемся, а? Пошли! В «Националь»!

Почему-то их пустили в кафе «Националь». Возможно, швейцар пошел отлить и забыл заложить щеколду, а может, понадеялся на убедительную надпись «Закрыто на спецобслуживание».

– Пьем коньяк, – твердо сказал Илья и немедленно заказал триста граммов сбитому с толку официанту.

Они выпили триста граммов коньяка с двумя пирожными, потом повторили заказ. Как раз между первым и вторым принятием Михе заметно полегчало, и тут к ним подошел молодой парень с камерой “Hasselblad” на ремне, с виду русский, и спросил, можно ли сесть за их столик.

– Конечно, – отозвался Миха и выдвинул парню стул.

И сразу же разговорились. Парня звали Петей, но оказался он не простым Петей, а бельгийским Пьером Зандом, русского происхождения, студентом Брюссельского университета. Вторые триста граммов они выпили уже вдвоем и пошли гулять по городу. Фотоаппарат по совету Ильи Пьер оставил в гостинице.

Они гуляли по московскому центру, лучшего туриста, чем Пьер, нельзя было и вообразить. Он узнавал места, в которых сроду не был, все это были ожившие воспоминания родителей и бабушки и прекрасное знание русской литературы.

А вчерашние «люрсы» были лучшими из проводников для тоскующего по России Пети.

В Трехпрудном переулке у маленького деревянного домика Илья остановился и сказал:

– Где-то здесь жила Марина Цветаева.

Пьер все мягчел и слабел, а тут чуть не заплакал:

– Мама моя хорошо знала Марину Ивановну по Парижу. У вас ее и не печатают...

– Печатать не печатают, но все же знаем, – сказал Миха:

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – брэнная пена морская.

Правда, я больше Анну Ахматову люблю. А Илья вообще увлекается футуристами.

Кто бы кого ни предпочитал, поразительно было то, что вот стоит перед ними живой человек, почти их возраста, мать которого знала Марину Цветаеву. Сам Пьер представлял огромную, давно уже не существующую страну, уехавшую в эмиграцию. Пока гуляли, Петя рассказывал о своей семье, о той бывшей России, которая казалась собеседникам таким же призраком, как Брюссель или Париж. Но как же яростно и остро Петя ненавидел большевиков!

Миха с Ильей, немало обсуждавшие недостатки социализма, впервые встретили человека, который говорил вовсе не о недостатках коммунистического режима: он определял его как совершенно сатанинский, мрачный и кровавый, и не видел никакой существенной разницы между коммунизмом и фашизмом. Каким-то неведомым образом Петя разъединял любовь к России и ненависть к ее строю.

Две недели они практически не расставались. Благодаря Пьеру, втиснувшись в бельгийский автобус, они попали на открытие фестиваля в Лужниках, где три с лишним тысячи спортсменов то расцветали единым цветком, то выстраивались в геометрическом порядке, их руки, ноги и головы согласованно вздымались и опускались, и это было потрясающе захватывающее зрелище.

– Такое же было на гитлеровских парадах, – шепнул Пьер. – Фильмы Лени Рифеншталь в свое время обошли весь мир. Великая сила массового гипноза. Но, правда, очень мощно! И здорово! – вздыхал Пьер и щелкал затвором фотоаппарата. Илья от него не отставал.

Потом был джазовый концерт, массовый заплыв с факелами, какие-то фигуристы в воде, не считая бесконечных песен и плясок ансамблей Советской армии, флота, промышленности, торговли, профсоюзов поваров и парикмахеров.

Пьера совершенно не интересовали ни египтяне, скандирующие «Насер! Насер!», ни чернокожие граждане независимой Ганы, ни израильтяне, тоже пользующиеся большим успехом, особенно у советских людей, клейменных пятым пунктом. Пьера интересовала только Россия.

На третий день фестиваля к ним присоединился воскресший после очередной ангины Саня, и целых две недели они провели в беготне, в радости и веселье, так что Миха почти совсем забыл о Минне.

Илья ни разу не вспомнил о своем несостоявшемся поступлении в институт, а Саня временно отложил свои переживания по поводу рухнувшей музыкальной карьеры. Все влюбились в Петю, в Пьера, в Пьерчика, и никто из них и помыслить не мог о том, как иностранный друг повлияет на их судьбы.

Пьер, как выяснилось, был послан на фестиваль как представитель молодежной газеты, с заданием сделать цикл фотографий о жизни Москвы. Фотографии Москвы он сделал замечательные, в большой степени благодаря своим новым друзьям. Он снял булочную, когда туда доставляли свежий хлеб, речной порт с кранами и портовыми рабочими, детские ясли, дворы с бельевыми веревками и сараями, читающих в метро девушек, стоящих в очередях старушек, выпивающих и целующихся мужиков – и море радости.

Забегая вперед, скажем, что фотографии были забракованы редактором газеты. Они показались ему фальшивкой и коммунистической пропагандой. Пьер, которого нельзя было

упрекнуть в симпатии к коммунистическому режиму, обвинил редактора в предвзятости, и они разругались.

За день до отъезда всей компанией пошли в Парк культуры пить пиво. Была там волшебная чешская пивная, прикидывающаяся рестораном. Очередь расползалась вокруг пивной, как пена около кружки, но они послушно стали в хвост – торопиться было некуда. К ним должен был присоединиться какой-то отдаленный родственник Пети – двоюродный или троюродный брат матери, работающий в Москве, во французском посольстве. Стоять было не скучно, все время происходило что-то занятное. Сначала группа людей на ходулях проскакала мимо, потом прошествовали шотландские волынщики, мексиканцы с трещотками и ряженые украинцы.

Саня с Михой держали очередь, а Илья с Пьером все отбегали, чтобы словить интересный кадр. И словили восхитительную драку могучего низкорослого негра с шотландцем в клетчатом килте неизвестного бело-зеленого клана. Бойцов окружила толпа зрителей, подбадривала:

– Врежь черномазому!

– Прибей пидараса!

Словом, народ развлекался древнейшим способом, точно как на гладиаторских боях. Бой шел под звуки все покрывающего Соловьева-Седого – вся Москва пела «Подмосковные вечера». Негр нанес сокрушительный удар, и шотландец в юбке рухнул.

Пластинку сменили: «Песню дружбы запевают молодежь, молодежь, эту песню не задужишь, не убьешь...»

Шотландец зашевелился. «Не убьешь, не убьешь...» – заливался громкоговоритель.

Через два часа, когда ребята уже входили в пивную, их разыскал Пьеров дядька, француз по имени Николай Иванович, с русской фамилией Орлов. Он был пожилой, розовый и толстенький, напоминал веселого поросенка Ниф-Нифа, говорил на петербургском наречии, давно вышедшем из советского словооборота. Одет был смешно – в соломенной шляпе и в украинской рубашке, вышитой по вороту, – точно как Хрущев. Иностранца в нем заподозрить было невозможно. По виду бухгалтер из провинции, с тертым портфельчиком.

Петя, когда его увидел, со смеху покатился:

– Ну и маскарад!

Знакомил их Петя с умыслом: через него держать связь.

Почте не доверяли. Обменялись телефонами. Звонить, ясное дело, можно было только из уличных автоматов, а встречаться договорились всегда на этом самом месте, возле чешского ресторанчика, чтобы по телефону не обсуждать место встречи.

Завязывалась преступная связь с иностранцем.

Знаменитое чешское пиво было светлое, в запотевших кружках, что свидетельствовало о его правильной температуре. Правда, оно стояло на соседних столах, а ко времени, когда компанию впустили в зал, как раз кончилось. Шпикачки тоже кончились, официанты подавали пиво «Жигулевское» и соленые крендельки, невиданную закуску. За соседним столом щипали, как корпию, внесенную контрабандой воблу, а в пиво подливали водку – под столом.

Хотелось сфотографировать, но было, во-первых, боязно, во-вторых – темно. Вато.

Таинственным образом снова появилось чешское пиво, пришлось выпить еще по две кружки. Вышли нагружившиеся, веселые. Пьер на прощанье подарил Илье свой “Hasselblad”. То есть Пьер сначала предложил обмен, но Илья не смог отдать «Федю»:

– Подарок отца, не вещь, а часть жизни.

И тогда Пьер снял с себя матовый рубчатый ремень и сказал:

– Понимаю. Бери.

Дядя Орлов подарил им свой бухгалтерский портфельчик. Он был тяжеленький, с книгами. Около метро разошлись в три разные стороны: Илья с Пьером решили идти пешком до центра, Орлов тоже пошел пешком, но в другую сторону – он жил на Октябрьской площади.

Портфель Орлова, набитый книгами, нес Миха. Они с Саней спустились в метро. Праздник все еще продолжался, хотя официальное закрытие уже произошло.

Толпы веселых и пьяных людей, слегка приуставшие от двухнедельного праздника, догуливали последний вечер.

Иностранцев, украсивших на время московский пейзаж, было очень мало. Наверное, пошли собирать чемоданы, спать, завершать последние товарообороты, продавать остатки валюты и доцеловываться с советскими девушками, впервые познавшими прелесть романа с австрийцем, шведом и гражданином независимой Ганы.

Дружба народов торжествовала. Иностранцы, вопреки многолетним внушениям, оказались хорошими ребятами – никаких капиталистов, одни коммунисты и сочувствующие. Вроде голубино-го Пикассо и прогрессивного Федерико Феллини.

Саня с Михой сидели за полночь во дворе дома-комода на Чернышевского, на скамеечке, говорили об улучшении нравов в России, хвалили Хрущева, который «вскрыл» железный занавес. Потом перешли к более личным темам: Миха поведал Сане то, что не вполне внятно изъяснил насмешливому Илье, – о бедной Минне, об их нечистых отношениях, о тягостном осадке, который теперь, видно, не смоеется за всю жизнь.

Саня молча кивал: он всегда представлял себе эту тайну между мужчинами и женщинами нечистой и отталкивающе-притягательной. До самой сути невозможно было добраться – слов не было.

Погоревали, помычали и разошлись.

С улицы еще доносились обрывки – «Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги...»

Коричневый бухгалтерский портфельчик с книгами Миха забыл под скамейкой. Саня тоже не вспомнил.

Дворник дядя Федор, воспетый Юлием Кимом, протрезвев на скорую руку, пошел мести участок. Портфельчик нашел – ничего в нем хорошего не было. Какие-то книжки. Отдал при случае участковому.

Толстячка Орлова родители его бывшей жены считали полным балбесом, и назначение его на дипломатическую работу в Россию их взволновало – он был первый, кто пересек границу родины в обратном направлении после восемнадцатого года.

В портфельчике лежал богатый подарок – шесть номеров «Вестника РСХД» и только что переведенная на русский язык книга Оруэлла «1984» издательства «Посев». И в том было полбеда, что мальчишки прочитают эту книгу с пятилетним опозданием, с ксерокопии. Беда была в том, что в боковом отделении портфеля лежало письмо от Маши, ушедшей от него жены. Оно было прислано диппочтой, имя Орлова стояло на конверте, и разыскать его ничего не стоило.

Фестиваль закончился. Забеременевшие от чернокожих студентов девушки еще не успели обнаружить свою беременность, а у Орлова уже начались неприятности. К счастью, не посадили, но из страны немедленно выслали. Дипломатическая карьера закончилась. Его бывшая жена и ее родители получили подтверждение тому, что Николай Иванович полный балбес и не пригоден ни к какому делу.

Зато мальчишки совершенно не пострадали.

Зеленый шатер

Оленька, луковка желто-розовая, плотная, в шелковистой тонкой кожице, без гнильцы и помятинки, нравилась и мужчинам, и женщинам, и кошкам, и собакам. И непонятно было, как это она, такая здоровая и веселая, в улыбочках ямочках, родилась от сумрачных немолодых родителей, карьерных, партийных, с большими секретными заслугами и явными знаками благоволения властей – орденами, персональными автомобилями, дачей в генеральском поселке и продовольственными заказами в коричневых крафтовых пакетах и картонных коробках, прямо на дом доставляемых из закрытого распределителя.

Еще более удивительным и непонятным было то, как доверчиво она усвоила все хорошее, что они говорили, и совершенно не заметила того дурного, что они делали. Она выросла честной и принципиальной, общественные интересы всегда держала на первом месте, личные – на втором, и ненависть к богатым (где они, кстати?) она усвоила, и уважение к трудящемуся человеку, например, к Фаине Ивановне, домработнице, и к водителю черной отцовской «Волги» Николаю Игнатьевичу, и к водителю серой, материнской, Евгению Борисовичу.

Как легко и радостно быть хорошей советской девочкой! Пионерский Артек с синими ночами и красными галстуками прекрасно сочетался с продовольственным распределителем, а персональные машины родителей, возившие ее на дачу по субботам, – с равенством и братством. Она была ни в чем ни перед кем не виновата и любила радостно и безмятежно Ленина – Сталина – Хрущева – Брежнева, Родину и партию. Была она морально устойчива, как написали ей в характеристике, когда вступала в седьмом классе в комсомол, и в высшей степени политически грамотна.

Отец Оли Афанасий Михайлович служил по военно-строительной части, а мать была редактором журнала, не совсем литературного, скорее воспитательного толка.

Антонина Наумовна (она была из православных, имена своим детям дававших по святам, а вовсе не из евреев) окончила ИФЛИ, так что была практически писателем. И учиться Олю, по родительскому решению, снарядили по филологической части, в университет.

Первый университетский год не предвещал ничего дурного: девица с охоткой взялась за общественную работу, избрана была в бюро комсомола, училась прекрасно и рьяно, завела жениха – доброго молодца. Из военной семьи, толковый паренек, и не филологический, а студент МАИ. Авиационный. Последний курс. Антонине Наумовне Вова очень нравился – плечистый, роста хорошего, волосы светлой волной на лоб, ходил он чистенько, в свитере с самодельными оленями, но по зимам носил кожанку авиационную, мечтанную одежду тридцатых годов, чем особенно Антонине Наумовне импонировал.

Свадьбу сыграли после окончания Олей первого курса, в начале июня, – чтоб всю жизнь не маяться майским браком, как сказала Фаина Ивановна, приходящая помощница по хозяйству, кладезь народной премудрости.

Вова переехал в генеральскую квартиру, в Олину комнату. Всего в доме было вдоволь еще для одного человека, только кровать купили новую, пошире. Покупал, как ни странно, сам генерал. Оля наотрез отказалась идти за такой двусмысленной покупкой, а Антонина Наумовна была страсть как занята по причине очередного съезда не то советских учителей, не то советских врачей. Афанасий же Михайлович вспомнил, что на Смоленской набережной он видел мебельный магазин, и сказал жене, что сам купит. Он туда и заехал после работы. Магазин оказался антикварный. Генерал долго ходил между мебелью всех времен и народов и вспоминал своего деда-краснодеревщика. Лет пятьдесят о нем думать не думал, и вдруг, посреди зыбких бамбуковых этажерочек, монументальных бюро с секретами и ампира белого-золотого мелколесья стульев и полукресел, воскрес тощий низенький старик с огромными коричнево-черными кистями и острыми глазами в нежных водянистых мешках подглазьями... И запах

дедовой мастерской всплыл – скипидарно-спиртовой, лаковый, густой и почти съедобный, и как учил дед его, мальчонку, пошкурить, поциклевать, полировочку навести.

Ходил, ходил Афанасий Михайлович, забывши, с чем пришел, потом вспомнил и купил двуспальную кровать волнистой березы, крепостной работы с фантазией, совершенно не подумавши о двух молодых комсомольцах, любителях палаток и ночевки под голым небом, которым предстояло теперь между витыми колонками, в кругу четырех херувимов потрудиться для будущего.

Кровать действительно произвела большое впечатление своей полной несуразностью и помпезностью, но супружеского дела не затормозила – внук Константин появился на свет ровно через десять лунных месяцев со дня свадьбы.

А генерал повадился с тех пор в антикварный магазин и, к удивлению Антонины Наумовны, начал постепенно менять добрую сталинскую мебель на заковыристые предметы большой давности, да еще и чинил их сам.

Был Афанасий Михайлович старше жены на десять лет, она давно уже чувствовала в нем приближение старости и теперь смотрела на это его новое увлечение как на старческую причуду, впрочем, безобидную. На даче он оборудовал себе мастерскую и ковырялся там с охотой, все более утрачивая военную бравость и политическую дальнорукость, которую жена в нем высоко ценила.

Антонина Наумовна не в восторге была от появления столь раннего ребеночка – Оленьке и девятнадцати еще не стукнуло, когда привезли из роддома кулек в голубом шелковом одеяле. Кулек оказался образцовым, точь-в-точь как его родители: ел, спал и какал по часам, всем улыбался и давал Оле возможность заниматься словесной наукой, так что ей и академического отпуска не пришлось брать для подращивания ребенка до пешеходного возраста.

Фаина Ивановна, с послевоенных лет работавшая в семье, растившая Олю с младенчества, собралась было с рождением ребенка уходить – в другую семью из двух человек, где работы поменьше и куда давно ее сманивали, – но Костя так пленил ее пожилое сердце, что она до самой своей смерти за ним ходила.

К концу университетской учебы, которая шла вполне успешно, произошло событие, разрушившее семейный мир. Оля, чистая девочка, набралась в этом университете тлетворного влияния и, когда одного из университетских преподавателей, скрытого антисоветчика и врага, само собой, народа, посадили за пасквиль, опубликованный за границей, подписала вместе с некоторыми своими однокурсниками, с толку сбитыми дураками, письмо в его защиту. И ее, вместе с другими подписантами, из университета выгнали. Антонина Наумовна раскаялась, что отдала дочь в университет, но было уже поздно. Мужественный отец Оли, если б знал, что так обернется это почетное образование, непременно бы вспомнил: «Кто умножает познания, умножает скорбь». Но Экклезиаста он не знал, и потому, когда тлетворное университетское образование повлияло на судьбу дочери столь драматическим образом, он с горечью выговорил своей жене Тоне:

– Дался тебе этот университет. Я ж говорил, проще надо быть, ближе к народу. Все мозги у девки перекошились... Отдала бы ее в инженера, и никакой этой гнили не набралась бы... Упустили девку.

В этом Афанасий Михайлович был, может быть, и прав. В университете испокон веку происходило умственное брожение, а его генерал порицал не по партийному долгу, а по сердечной склонности.

– Все умничают, – сердился он всякий раз, когда сталкивался с тем, чего не понимал. Все чаще и чаще он не понимал свою дочь: даже о простых вещах научилась она говорить заумно, как будто специально, чтоб родному отцу мозги запудрить. Зять, надо отдать ему должное, Олиных взглядов не разделял. Они время от времени поругивались между собой – по вопросам политическим, потому что других-то проблем у них не было: на всем готовом жили, с няней,

с дачей, с продовольственными заказами... Дело дошло до того, что вскоре после исключения Оли из университета Вова хлопнул дверью и переехал обратно к своим родителям.

Если б Оля послушалась родителей, покаялась на собрании, поплакала и написала бы заявление, какое от нее требовалось, до исключения дело бы не дошло. Но она, как было сказано, выращена была честной и принципиальной – родители с детства ей это привили – и потому наотрез отказалась каяться, признавать за собой ошибки и клеймить мерзавца-преподавателя, который был руководителем ее диплома.

Арест преподавателя произошел в начале сентября, Ольгу пригласили на первый допрос в конце месяца, и честная девочка говорила правду и только правду. А как иначе? Правда же ее состояла в том, что преподаватель – выдающийся ученый, что настроен он критически ко многим явлениям советской жизни, и критика его правильная, и она, ученица, полностью разделяет его взгляды на литературу и жизнь. Показания ее сильно не повредили арестованному, а за ошибки дочери ответили родители. Афанасия Михайловича вызвали в секретное место для строгой беседы, притопнули на него ногой, и он вскоре подал в отставку и переехал жить на дачу. В глубине души он даже и рад был этой перемене: хорошо было за городом – упражнялся там в наследственном ремесле и, храня на дочь тихую обиду, не портил себе ни настроения, ни кровавого давления пережевыванием семейной неприятности. Была у него, сверх того, и другая отдушина.

Антонина Наумовна сделала опережающий удар: еще до того, как начальство собралось намылить ей шею за плохое воспитание дочери, она успела опубликовать в своем журнале гневный материал по поводу очернительской книги бывшего преподавателя и подрядилась выступить общественным обвинителем на политическом процессе против негодея. Отношения с дочерью с той поры полностью разладились.

Оля жила в доме как чужая. Ничего о себе не говорила, приходила, уходила, то с Костей погуляет, то вдруг исчезнет на день-другой. В феврале начался судебный процесс над преподавателем и его другом, тоже отчаянным писателем, передавшим рукописи на Запад, и Оля бегала к Краснопресненскому суду и стояла в толпе молодых мужчин и женщин с интеллигентными и дерзкими лицами. Они все как будто были между собой знакомы, иногда кто-нибудь из мужчин вытаскивал бутылку из портфеля или фляжку из кармана, пускали по кругу. В эти минуты Ольга чувствовала себя одинокой и несчастной: ей не подносили. Однажды, зайдя в пельменную рядом с судом, скорее погреться, чем поесть, Ольга оказалась за одним столиком с этой компанией, и они признали в ней свою, как только она сказала, что делала диплом под руководством подсудимого и по этой причине из университета изгнана.

Высокий человек, которого она еще раньше заметила в толпе, потому что, несмотря на лютый мороз, он был без шапки, с заснеженными кудрями, и время от времени вынимал фотоаппарат, совал кому-то бумаги, а однажды его на глазах у всех затолкали в автобус и увезли, так вот этот самый веселый человек поднес ей незаконной водки, прямо под объявлением, что принос и распитие спиртных напитков строго запрещены, и она выпила почти полстакана.

И тут наступило счастье: пахло разваренными пельменями и мокрыми шубами, немного хлоркой и немного прокисшим алкоголем, пахло опасностью и дерзостью, и Ольга почувствовала, что ее приняли в партию сочувствующих обвиняемым. Чувство это было похоже на детскую коллективную радость пионерских сборов, искристых костров под синими электрическими небесами, комсомольских выездов на картошку и песен в электричке, только стало ясно, что все то, детское, было не то подменой, не то предвестником этого подлинного единения умных, значительных и смелых людей, и выглядели они верными товарищами, и хлопали друг друга по плечам, иногда взрывно смеялись, но чаще о чем-то потаенно шептались. Самым притягательным за столиком был тот высокий и кудрявый. Звали его Илья. Он и разливал.

Так и получилось, что Олина семья продолжала жить в прошлой жизни, а Оля оказалась в совершенно новой. Судебный процесс закончился, антисоветчики получили заслуженные

сроки и отправились отбывать наказание, а круг людей, толпившихся во дворе Краснопресненского суда, сплотился.

Слово «диссиденты» еще не привилось к русскому языку, термин «шестидесятники» ассоциировался пока только с последователями Чернышевского, но в умных головах заводились тихие, как черви, и опасные, как спирохеты, мысли. Илья перелагал их Ольге в доступной форме в перерывах между объездами, которые случались в комнате на улице Архипова, где жил Илья со своей матерью до женитьбы, но и после женитьбы не совсем съехал. Возил туда Оленьку от случая к случаю исключительно в утренние часы, поскольку его мать работала с восьми до трех медсестрой в детском саду.

С посаженным в лагерь преподавателем Илья был хорошо знаком, он знал почти всех людей, которые толпились тогда во дворе суда, но, помимо этого, он знал вообще все, а особенно то, что написано было в примечаниях мелкими буквами. Создавалось даже такое впечатление, что чем мельче шрифт, который использован для набора, тем это интереснее Илье. Особенно хорошо и много знал он про то, о чем в университетских книгах вообще не упоминалось. Свои знания он черпал в библиотеках, где провел школьные и послешкольные годы. К большому удивлению Ольги, образованнейший Илья высшего образования не имел, окончил только десятилетку и работать на государство не желал, а во избежание преследований со стороны власти числился секретарем у какого-то академика.

Роман Ольги и Ильи протекал главным образом на ногах, в прогулках по сокровенно-московским местам, которые он хорошо знал. Иногда он останавливался возле кривого домика с покосившимся крыльцом и говорил: это дом допожарный, сюда Вяземский захаживал... Здесь, у брата, Мандельштам останавливался... а в эту аптеку бегала жена Булгакова Елена Сергеевна за лекарствами для мужа...

Но лучше всего он знал про футуристов, про весь этот русский авангард. Часами они простаивали у прилавков букинистических магазинов, где он тоже всех знал и его знали, перебирал тонкие книжечки, напечатанные на серой сырой бумаге. Иногда покупал, иногда только причмокивал языком. Однажды заставил Ольгу бежать домой и занимать у родителей сторублевку для покупки редкого издания Хлебникова.

Так прошел год, а они все гуляли по переулкам, выпивали с друзьями, которые у Ильи все были особенными, как на подбор: один музыковед, другой жокей, к третьему, смотрителю заповедника, они ездили на Оку, и еще один был настоящий священник. Самым милым был рыжий учитель глухонемых детей! Оле раньше и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные, со своими философиями и религиями. Мелькнул даже буддист! И Ольга читала книжки, и это было как еще одно университетское образование, но гораздо интереснее, да и книжки, которые давал Илья, были либо старинные, либо привозные, заграничные. Однажды он попросил Олю перевести с французского небольшую книжечку – католическую, про чудеса в Лурде.

Им было так интересно и так хорошо вместе, что Оле было трудно вообразить, что у него есть какая-то еще жена, к которой он уходит поздними вечерами. Потом что-то изменилось в его семейной жизни – все реже он сообщал, что ему надо в Тимирязевку, пока окончательно не вернулся к матери в коммуналку. Оля познакомилась с тихой Марией Федоровной.

По мере того как Ольга удалялась от своих родителей, зять Вова им все роднел: приходил по воскресеньям, получал из рук Фаины Ивановны собранного на прогулку сына, выгуливал его и приводил к обеду. Сам кормил, укладывал спать, а потом обедал вместе с тестем и тещей, каждый раз по особому приглашению, слегка отказываясь и давая понять, что в воскресном, не то чтобы парадном, но полупарадном обеде он никак не заинтересован, и не Фаиныны пухлые недосоленные пироги привлекательны, а исключительно само родственное общение.

Оленька по воскресеньям отсутствовала, и о ней обычно и не поминали – большое место было общим, с теми же самыми оттенками оскорбленности, недоумения, совершенно необъ-

яснимого предательства. У отставленного мужа вдобавок сильно чесалось молодое мужское самолюбие. К чести его надо сказать, что первую любовницу завел он спустя два года, когда Оля затребовала развода. До этого момента чувствовал себя женатым мужчиной в неопределенно долгой командировке, соблюдал бессмысленную верность и платил сорок рублей алиментов, которых никто с него не спрашивал. Ему все казалось, что Оленька опомнится, и они начнут дальше дружно жить с того самого места, где споткнулось их супружество...

Узнав, что Ольга подала на развод, Антонина Наумовна ушла в тихое бешенство. Но она умела быть сдержанной: ее страсти кипели в тайной глубине организма. Чем более она себя сдерживала, тем крепче сходились ее челюсти и сильнее выпирали из орбит тусклые глаза. Ольге она ни слова не сказала, паров она дома не спускала, умела разрядиться в редакции. Сотрудницы трепетали, одна от страха уволилась, а преданная ей всей душой секретарша слегла с микроинсультом.

Афанасий Михайлович с тех пор, как вышел в отставку, тихо радовался незамысловатой жизни. Он не обладал эмоциональной тонкостью своей жены и не торопился так уж решительно вычеркивать дочь, а лишь отодвинул ее подальше и не страдал так страстно, как Антонина Наумовна...

Видимо, и Ольга почувствовала отцову слабину: про изменившиеся обстоятельства своей жизни первому рассказала ему, а не матери. Но был в этом и расчет, о котором догадались позже...

В середине февраля Ольга приехала на дачу. Как простые жители, на автобусе. В будний день, ни с утра, ни с вечера – после полудня. Как раз привезли питание из недалекого военного санатория, вроде как по курсовке: обед из трех блюд и сладкая булочка собственной прекрасной выпечки. Афанасий Михайлович возился с судками, тут явилась Ольга. Он обрадовался, потому что давно ее не видел, а семейная ссора подзатуманилась со временем. Она же была веселая, совсем прежняя, располосинила безо всякого колебания отцов обед и даже составила ему компанию по части предобеденной рюмки. После обеда она с ногами забралась в кожаное кресло с алюминиевой биркой за шиворотом – были на даче еще остатки казенной мебели, которую генерал выкупил у своего ведомства за копейки вместе с самой дачей, – и выбрала Оленька по старой памяти это с детства родное чудовище, а не обновленное отцово старье, сплошь деревянное, лишненное ласковости и снотворности, купленное отцом все в той же комиссионке.

– Батяня, – назвала Оля отца детским прозвищем, – я хочу с тобой на даче пожить. Костю бы перевезла, а? Как ты?

Афанасий Михайлович обрадовался, никакого подвоха не почувал:

– Да живи ты, сколько хочешь, чего спрашиваешь? Только как с работой-то? Без машины тяжеленько...

Сообщение с городом было сложное: до Нахабина автобусом, который ходил не по расписанию, а по вдохновению, а от Нахабина на электричке до Рижского вокзала...

– А мне ничто, – засмеялась Оля. – Я не работаю, я учусь.

Афанасий Михайлович обрадовался: жена не говорила, что Оля опять пошла учиться. Недоразумение, однако, тут же и рассеялось – училась Ольга теперь не в университете, а на городских курсах испанского почему-то языка. Ходила на занятия не каждый день, вечерами, в университете восстанавливаться не собиралась.

Афанасий Михайлович медленно прикидывал, почему это вдруг задумала дочь такую перемену, и как жена к этому отнесется, и не следовало ли прежде согласия с женой посоветоваться. Но тут Ольга все сама и прояснила:

– Может, и друг мой тут поживет.

Старый генерал задохнулся от возмущения: развелась, не спрашивая, теперь завела любовника, хочет его в дом привести и его согласия-разрешения ждет. Но, минуту помолчав, махнул рукой:

– Да живи с кем хочешь, что мне за дело...

Насупился, доел быстро казенную котлетку и пошел принимать послеобеденную процедуру – сон.

Через несколько дней на огромный генеральский участок въехала старая «Победа», из нее высыпался Костя в цигейковой шубе, цигейкового же вида крупный щенок, Ольга со стопкой книг в руках и высокий кудлатый человек с лыжами. Окна мастерской, где Афанасий Михайлович возился со своими деревяшками, были обращены в другую сторону, и он не видел, как они, толкаясь, падая, роняя в снег варежки и книжки, подошли к крыльцу. Вышел на звонок, открыл дверь и увидел, как ему после дачного безлюдья показалось, целую толпу. Костя визжал, собака лаяла, Ольга преувеличенно хохотала, и над всеми возвышался длинный нескладный мужчина, в котором таился – сразу же понял отставной генерал – корень всех зол.

Корень назвался Ильей Брянским. Он протянул костистую, мясом не обросшую руку, пахнул дешевым табачным запахом, каким-то знакомым химреактивом и затаенной враждебностью. И от Ольги тоже шел новый дух – дерзкий и чуждый. Только внук Костя да его простопородный щенок были своими. Но Афанасий Михайлович не вдавался в анализ своих ощущений. Поцеловал дочь и внука и ушел на второй этаж рукодельничать: запах политуры, столярного клея и древесной пыли был ему полезней валерьянки. Он взял самую тонкую шкурку, принялся тереть боковину кресла, снимая оскорбительный лак, и рука его радовалась кривой плавности завитка, поддерживающего подлокотник.

Снизу доносился взрывчатый смех, фыркание, хохот, переходящий в стоны и повизгивание, – звуки, совершенно не подходящие тихому и чопорному дому.

Все же бесстыдство какое: приехала с любовником и малолетним сыном, и как ни в чем не бывало, осудил генерал дочь.

Зажили на два дома: Афанасий Михайлович – на своих военно-санаторских харчах, по привычному режиму: в семь подъем, в восемь чай, в одиннадцать сон. Ольгина семья перебивалась кое-как. То сварят себе что-то незначительное, но все больше бутербродничают, весь день холодильником хлопают, встают, ложатся не по часам, а как придется, – то гуляют, то чай пьют среди ночи, спят не ко времени, хохочут и стрекочут пишущей машинкой чуть не до утра. И работают не по-людски, то утром уезжают, то среди дня. Ольга на курсы едет в четыре, возвращается последним автобусом. Он встречает. Иногда с Костей. Ночью, по морозу, чего ребенка таскать?

Правда, одного Костю не оставляли, уезжали попеременно. А если уезжали с ночевкой, вызывали Фаину Ивановну. За два месяца только один раз попросили присмотреть Афанасия Михайловича: он взял мальчика к себе в мастерскую, и тот весь день ему помогал. Толково.

По субботам приезжала Антонина Наумовна на серой «Волге» – с тортом и с продовольствием. Устраивала воскресный семейный обед. Новый женишок долгое время ей на глаза не показывался: как суббота-воскресенье, так его и нет. Только в начале апреля они столкнулись. Предварительная неприязнь Антонины Наумовны оправдалась: не понравился. Да и чему нравиться? Разве что волосом кудряв. А так – лицо скудное, в обтяжку, нос с вороньей костью, а губы мясистые, красные, как в лихорадке. Несуразный весь: плечи узкие, ноги тощие, в поясе того и гляди переломится, брючата узенькие, а впереди торчит, много наложено. А сам ледащий! Тьфу!

Антонина Наумовна кивнула, поджав губы:

– Ну, будем знакомы. Антонина Наумовна.

– Илья.

– А по отчеству?

– Илья Исаевич Брянский, – подчеркнуто сказал.

Брянский-то Брянский, рассудила Антонина Наумовна, большой знаток по кадрам, однако Исаевич! – пророческие имена только у попов и у евреев в ходу... еще у староверов. Ей этот вопрос был хорошо знаком, всю жизнь отбивалась.

И чего девке надо было? Такого ладного парня, Вову, мужа хорошего, променяла на вихлястую жердину. И Костя, что неприятно, глаз с него не сводит, лазает по нему, как по тощему дереву.

За столом семейка молодая принялась хихикать. Антонина Наумовна заметила, как Илья Косте в тарелку хлебный катушек забросил, а тот ему как будто невзначай соли щепотку всыпал. А Ольга сидит с глупой улыбкой, щурится... Торты же женишок съел два куса. Крем слизывал сверху, как кошка. И за Костей доел. Сладкое любит. И ложечку обсосал. Противно! Все же напрасно Афанасий разрешил им здесь жить. Пусть бы сами устраивались, как могли. Все больно легко им дается. И глаз ее заволокся злой сухой слезой...

Бедные Ольгины родители и вообразить себе не могли, чем занимается ледащий женишок, о чем стучит по ночам машинка и куда он носится, покидая богатую дачу. Знала обо всем этом Оленька: это она перепечатывала антисоветчину на папиросных листах. Правда, за большие объемы Оля не бралась: не хватало скорости, квалификации. Она занималась перепечаткой стихов, более всего Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского – считала это своей общественной работой, – а толстые книги отдавали более проворным, и за деньги, то Гале Полухиной, школьной подруге, то профессионалке Вере Леонидовне.

Илья иногда отвозил листы в переплет, к другу Артуру, а иногда распространял и так, голенькими. Артур делал чудесные поэтические книжечки в ситцевых переплетах. Книжки религиозного содержания переплетал в соответствующий им солидный материал – ледерин, коленкор. Но дело с ним иметь было непросто: забывал о сроках, о договоренностях. Илья на самиздате зарабатывал. В отличие от большинства прочих гутенбергов своего времени, интеллигентским чистоплутством он не страдал и за потраченное время желал получать приличное вознаграждение, которое достойным образом он и употреблял на свои фотографические увлечения и коллекции.

Сколько стихов! Сколько стихов! Не было другого такого времени в России, ни до, ни после. Стихи заполняли безвоздушное пространство, сами становились воздухом. Возможно, как сказал поэт, – «ворованным». Высшее признание поэта, как оказалось, – не Нобелевская премия, а эти шелестящие, переписанные на машинке и ручным способом листочки, с ошибками, опечатками, еле различимым шрифтом: Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Солженицын, Бродский, наконец.

– Наш школьный учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели – вот с кем тебя надо познакомить. Он тебе очень понравится! Он, правда, давно уже в школе не преподает. Сидит где-то в музее на ставке. Главное, чтоб внимания не обращали.

Советская власть преследовала безработных, причисляя к ним тех, кому работать сама же и не давала. Тунеядец Иосиф Бродский уже освободился из ссылки в деревне Норенской, и ничто не предвещало, что через пятьдесят лет в местной библиотеке откроется мемориальная комната памяти бывшего ссыльного и потертая девушка средних лет будет водить экскурсию «Бродский в Норенской».

Оля поначалу немного, а постепенно все более уверенно занималась переводом: французский был университетский, к испанскому, выученному на городских курсах, прибавился итальянский, который сам собой освоился исключительно по дороге на дачу, в электричке. Образовались связи, иногда приглашали переводить фильмы, и она отлично с этим справлялась. Были и другие заработки-приработки – какие-то рефераты, патенты. Заработки были сначала маленькие, потом значительные. Но все работы были неофициальные, а официально она теперь числилась секретарем, как Илья. Это была ширма, ею многие пользовались.

После смерти бывшего тестя нашелся еще один человек, который оформил Илью к себе в секретари. Он и Ольге нашел старого профессора, который оформил ее к себе на работу секретарем, и оба они числились в каком-то загадочном профкоме, устроенном как будто специально для избегания советской власти.

На даче, в чулане рядом с ванной, Илья оборудовал себе фотолaborаторию. Как в школьные годы, отвел трубу от сортира и ночами там химичил. Но Афанасий Михайлович ничего не замечал – мылся он по субботам, в другие дни в сторону ванной и смежного с ней чулана и не смотрел.

Какие счастливые были эти совместные годы! Илья развелся с прежней женой. С Ольгой они тихонько, без большой огласки поженились, и Ольга предалась ему всей душой. Все, что он говорил и делал, было увлекательно и ново: и самиздат, и фотографии, и путешествия – он был любитель и русского Севера, и среднеазиатского Юга, часто срывался, ехал бог весть куда. Иногда брал с собой Ольгу и Костю.

Однажды поехали в Вологодскую область – в Белозерск, в Ферапонтово, – и осталась эта поездка в памяти Кости как волшебное путешествие. Все, что происходило, каждый прожитый день и час остались, как киноплёнка, годная к новому просмотру: и ловля рыбы с лодки, и ночевка на сеновале, и как влезли на леса в монастыре, и он чуть не сверзился в бездну, но Илья ухватил его за куртку, и ужасная смешная история с пчелой, которую он засунул в рот вместе с куском деревенского пирога с вареньем, а Илья немедленно вытащил пирог прямо у него изо рта и ловко вытянул из губы пчелиное жало.

Оля вспоминала другое: пропадающие фрески Дионисия, запущенный монастырь, медлительную и сонную северную природу, которую она с первого же слюдяного, прозрачного заката признала своей настоящей родиной.

Именно тогда, под Вологдой, она, пережившая разочарование в родительских идеалах, в самих родителях, во властях и начальствах страны, в которой родилась, в самой стране, с ее жестокими и бесчеловечными порядками, вдруг испытала новую, щемящую любовь к бедному смиренному Северу, откуда родом был ее отец, и комок застревал в горле, когда поздно закатывающееся солнце садилось в большое озеро, багровое небо делалось постепенно серебряным, и все вокруг серебрело – поля, вода, воздух. Этот зелено-серебряный оттенок тоже был открытием этой поездки, именно Илья первым его заметил и указал.

Генерал в эти годы окончательно перебрался в мастерскую, почти и не показывался оттуда. Мать боялась потерять свою должность, но никто ее не гнал из журнала: она была партийно-писательской шишкой почти крупного масштаба.

Когда Костя пошел в школу, они переехали в московскую квартиру, а Антонина Наумовна все чаще стала ночевать на даче – персональная машина курсировала почти каждый день по два раза туда-сюда – отвозила, привозила.

На десятом году брака произошел сбой.

Илья сделался нервным и настойчивым: чудесная веселая игривость характера сменилась мрачностью. В начале восьмидесятого года он объявил Оле, что им надо уезжать. Разговоры об отъезде давно уже велись между ними, но как-то отвлеченно. Тут вдруг Илья ни с того ни с сего страшно заторопился.

– Я буду просить приглашение на всю семью. Если ты не хочешь ехать, надо разводиться.

– Хочу, хочу я ехать. Но сам подумай. Вовка Костю ни за что не выпустит. Просто мне назло. Вот ему восемнадцать исполнится, тогда уже разрешения не нужно будет. – Оле казалось, что Илья напрасно капризничает. Не уехали десять лет тому назад, ну что вдруг теперь так загорелось?

Илья настаивал, торопил. Ольга встретила с бывшим мужем. Совершенно безрезультатно. Вова показал себя злобным тупицей. Даже удивительно, какой бесчувственный боров из него произошел. Отказал твердо, окончательно, да еще и обругал.

Оля умоляла год подождать. Илья был как в лихорадке: ехать, скорее ехать. Он и вправду очень нервничал. Неприятные слухи клубились вокруг его имени, и он боялся, что до Оли дойдет. Как-то резко, не проговорив до конца всех деталей, Илья объявил, коли Ольга не может с ним ехать из-за Кости, то надо срочно подавать на развод.

Для Ольги это была катастрофа, но катастрофа какая-то странная, необязательная, что ли... И впрямь, не вполне было понятно, почему вдруг Илюша так заторопился. Подождали бы год, поехали бы вместе с Костей. Множество друзей уже эмигрировали кто куда. И можно было бы не торопясь...

Дошли до черты – подали на развод. Начался медовый месяц, только наоборот. Ожидание разлуки – на год, может, на два? – придавало остроты, сладости и горечи, и даже Косте передалось это смешанное чувство. Он был юноша в самом, казалось бы, отчужденном возрасте, но и он висел на Илье, постоянно норовя нарушить их уединение.

Любовь в экстремальных условиях так разгорелась, что в ее ночном пламени рухнули последние границы, и сделаны были ужасные признания, и даны такие клятвенные обещания, и взяты такие невыполнимые обеты, как будто им было по пятнадцать лет, а не по сорок. Поклялись, что если какие-то препятствия возникнут, то весь остаток жизни положат на то, чтобы соединиться....

Отъездный механизм был запущен. Процесс завершился необычно быстро: через две недели после подачи документов Илья получил разрешение. Летел он по известному маршруту: через Вену, далее везде. В качестве конечной точки намечалась Америка. Далекое место.

Отвальную устраивали на квартире у друзей – московская генеральская квартира не подходила по множеству причин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.